

СОДЕРЖАНИЕ

Ирина Евса ЭТЕРИ БАСАРИЯ	3
Евгений Пашковский ЭСКУЛАП В НОЧИ	4
Марк Белорусец ЗАБЫТЬ И ПОМНИТЬ	19
Семен Глузман ИЗ КНИГИ «ПСАЛМЫ И СКОРБИ»	26
Виктор Ерофеев ОТВАРНОЙ БОГ	38
Сергей Соловьев ЯЗЫК.RU	44
Виктор Малахов ПРИТЯЖЕНИЙ ТВОРЧЕСКАЯ СУТЬ	52
Ирина Шувалова ДОКИ ЗА МЕНЕ ЩЕ НЕ ГОВОРИТЬ САД	58
Станислав Минаков Я ВСЛУШИВАЮСЬ В ТВОЙ МАНОК	67
Этери Басария РАД, БРАТ БОЖЕНКИ	74
Анна Стреминская ТОЧЬ-В-ТОЧЬ ДАНЫ НАМ ИМЕНА	103
Валерий Юхимов ПРОДУКТ ЯЗЫКА	108
Ольга Ильницкая ТРИ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ КОТА ПЛАТОНА	112
ТАЙНЫЙ ХОД НЕ СКАЖУ КУДА	119
ЖИВУ СПОКОЙНО	121
Семен Абрамович МАРИЯ ТИЛЛО (1977–2006)	124
Мария Тилло Я МИНУТОЙ ОЩУЩАЛА ЧЕРНЫЙ ВЕК	127

СОТЫ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ИЗДАНИЕ

Главный редактор:
Дмитрий Бурого
Выпускающий редактор:
Наталья Бельченко

Редакционный совет
выпуска:
Игорь Лапинский
Владимир Гутковский
Семен Абрамович
Мирослав Лаюк



Издательский дом
Дмитрия Бурого
Свидетельство о внесении
в Государственный реестр
Серия ДК № 2212 от
13.06.2005 г.
тел.: (044) 227-38-28,
227-38-86;
e-mail: conf@graffiti.kiev.ua
www.burago.com.ua
Адрес для переписки:
04080, г. Киев-80, а/я 41

Подписано в печать:
14.05.2013.
Формат: 70x100/16.
Гарнитура
Franklin Gothic Book.
Уч.-изд. л. 10,05.
Усл.-печ. л. 12,09.
Заказ №1255

Леся Тышковская**МОНОЛОГИ У ГРОБА**..... 130

Эльке Эрб

ВЫСТЕРЕЧЬ И ВЫДУМАТЬ 139

Татьяна Ретивова

КАБОТАЖНОЕ ПЛАВАНИЕ..... 144

Анна Ревякина

ЧУДЕСА ПОЯВЛЯЮТСЯ БЛИЖЕ К УТРУ151

Мария Панчехина

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО**ГРИГОРИЯ БРАЙНИНА**..... 156

Григорий Брайнин

МИР НАПОЛНЕН ТОБОЙ И СОБОЙ 160

Анна Щербакова

ТУННЕЛЬ..... 166

Анна Малігон

ЯК ПРОКИДАЄТЬСЯ СВІТЛА ВОДА..... 171

Владимир Верлока

ПУТЕШЕСТВИЕ В 176

Константин Ильницкий

ГЕОГРАФИЯ ДУШИ..... 183

Ігор Кручик

КОРОТКА ШЛЮБНА НІЧ..... 187*Новые книги*

Юрий Михайлик

ГЛАГОЛЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 195

Дмитрий Бурого

«В МОЕМ СЕРДЦЕ ЖИВЕТ БАРАБАНЩИК!» 199

Илья Кукулин

ЗРИМОЕ 202**НАШИ АВТОРЫ** 203

Ирина ЕВСА

Этери Басария

Снег парит над куполами, и, волшебнo хорошея,
город прячет в плавных складках возвышения и спуски.
И заезжий иноземец с красным шарфиком на шею
зайцем прыгает в сугробы, причитая по-французски.

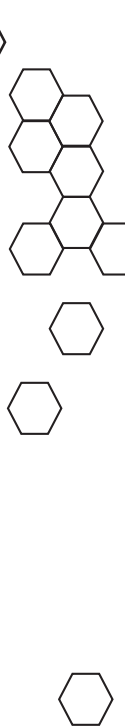
Сквозь лазурь и позолоту украинского барокко
вьется сизая поземка, катит ветхая телега.
И Господня длань разжата, – всем, покинутым до срока,
всем, молящимся о чуде, возвещая прибыль снега.

В размалеванной витрине – фижмы, фраки и жилетки.
Припорошенный метелью крендель вывески у входа.
По углам замерзших стекол серебристые виньетки.
Окончанье века. Святки. Трехгрошовая свобода.

По тропе обледенелой мы плетемся еле-еле,
а за нами – красный шарфик коммерсанта из Лиона.
Мы лишь малые вкрапления в безымянной акварели,
ветром сорванной с мольберта, проплывающей наклонно.

Не печалься, друг Этери: слава Богу, мы забыты
в отживающей эпохе на заснеженном Подоле.
И таким блаженным вздором наши головы забиты,
что уже никто на свете не поймает нас на боли.

90-е годы



Евгений ПАШКОВСКИЙ

ЭСКУЛАП В НОЧИ

Сначала я написал статью: о том, как, казалось мне, сам О. Чиладзе понимал суть своего литературного служения – как эскулап в ночи, как целитель во тьме невежества; но потом одного моего литературствования оказалось до бессмыслия мало; понадобилось время; смыслопоиск и зарево его; время, как настроения идей его поющих, гроздь топчущих виноделов; в упоении радостной слаженностью разбрызгивающих красноту из живого круга; незаметно для работавших угасившую заренье. Одно из любимейших моих мест в литературе – отрывок об эскулапе, во «Всяком, кто встретится со мной...»: «Что с человеком?» – думает он, сидящий на облучке, болеющий за всех, заботящийся обо всех, а сам не имущий и одинокий, отвыкший от горячей еды и спокойного сна, путник бесконечной дороги, от больного к больному: однообразной, вызывающей одни и те же мысли дороги. Ведь он, Эскулап, с посохом и дорожной сумкой через плечо, все знающий и все повидавший, вызывающий невольное уважение и восхищение – на деле – беспомощный невежда, обыкновенный обманщик, сеятель ложных обещаний и надежд, незаслуженно почитаемый и выбегающим ему навстречу ребенком, и самим больным на его зловонном одре, и родными больного, ждущими приговора молча, со скрещенными на груди руками. Ибо он, Эскулап, не может проникнуть в логово главного недуга – в человеческую душу, – не может и открыть надеющимся на него правду, сказать, что их болезнь неизлечима, что чесотка и запор пустяки в сравнении с кипящим в их душах адом, которому они дают убивать себя, не задумываясь, не рассуждая, с каким-то даже неземным упоением! «Что с человеком? что с ним стряслось?» – думает он, глядя на лоснящийся круп лошади...с шумом мчатся назад свесившиеся над дорогой ветки, одна деревяня сменяет другую, где-то в окнах уже мерцают огоньки цвета спелой айвы, время от времени за двуколкой с лаем бросается в погоню какой-нибудь не совсем еще обленившийся пес. Сумерки сгущаются, дорога

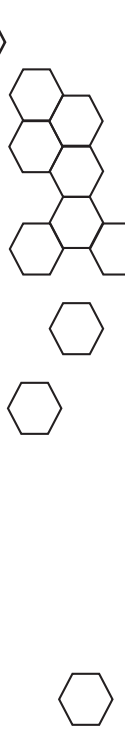
становится уже: лошадь спотыкается, пыхтит, как человек, погруженная в свои мысли, пропитанная запахами пройденных сел и знойных полей, знающая свое дело, бесконечно ему преданная... «Что с нами стряслось, голубушка?» – спрашивает ее сидящий на облучке – *но круп лошади не отвечает*, как и все заднемыслие опыта, обозримого ныне в таком лоснящем виде; «и сердце лошади наполняется радостью: хозяин вспомнил ее, хозяин заговорил с ней! Теперь она с еще большей охотой рассекает уплотнившуюся от невидимой пыли тьму, ее спина вздрагивает, запотевшие бока блестят – и все это вместе взятое называется жизнью».

Но куда мы приехали все?

Священничество, писательство, целительство – суть разные степени донесения Истины и всего высшего предназначения; а на простом уровне – простых понятий: как надо и как нельзя жить? все служат одному: отземлению обремененного и устремлению его духовзора ввысь; все и всё служит, если желает служить, совершенствованию для познания истинного милосердия; понять всем напрямом сознания, всем внешним умом, анализом, его нельзя – сознание невосприимчиво к вышетокам Любви и ее сверхидей – но частично ее можно уловить, почувствовать через сопереживание разного трагического и отрешающего опыта; а что есть сверхтрагичнее опыта прошлого столетия? в те помраченные времена литература стала заменой богопознания, поиска истинности; так случалось и раньше, но по особенному это длилось в одно столетие – и слово писателей потому и воспринималось: едва не как Божественное; для простых читателей неуловима разница – между созданиями умов человеческих, меж идеями и фантазиями человекоума (именуемыми в Слове сынами человеческими, которые только пустота) и порождениями Ума Великого Человека: Божественной Мудрости Господа, размышляющей и провозвещающей о брэнном и гибельном; иль спасительном душ состоянии; провозглашающей о нетленном и вечном, на фоне порождений сознания, вещающего все о мелочном и тщетном; все о неудовлетворимом и потерянном; но на фоне возможной потери вечности все человекописания – для души – пустотны; сознание же не проникает в любовь души, если обращено только к видимому: ему отвратно веданье, что Бог всеведущ о состояниях – относительно добра и истинности, зла и лживостей его – относительно целых народов, всех и каждого; и даже слышавшие с амвонов, даже верующие этому, со всей серьёзностью не воспринимают сего; веря внешнеуму, подсказкам разума, отвергающему непостижимое им; разум верит в себя, в сынов своих; в глупотень и ограниченность свою; зачем ему что-то еще: о зле своем; о какой-то любви к какому-то ближнему; к чему эти всем известные сказки? неприменимые в жизни; ум проникнуть в глубины духоестества, сам от себя, не может; как термометр в солнце; и не пытается давно; ум все скользит по поверхности; внешних впечатлений, внешних суждений, внешних обобщений и даже по истечении событий, ни малейшего представления об их духопричине не ведает – так же, как мало знает и свои настоящие духожелания, свое духостояние каждодневно – не ведает, ибо поглощен привычным и общепринятым, как лечение припарками да пиявками

в позапрошлом веке; как езда в бричке или на телеге; сколько убыло, а ум тележится на деревянных колесах – на полудикости понятий о первопричинах всего; умысленная неведь ума жаждет самооправданий, и все ссылается на внешние социально-экономические обстоятельства; на личные обстоятельства; на случайные обстоятельства; обстоятельств – или состояний – внутренних для нее не существует; из невнимания к ним; из неосознания их вседвижущей силы; внешнее довлеет так, что духосостояния почти неслышимы; почти неуловимы; до поры сбывания их; духосостояния – наполненность небесдуховной или земной и мирской любовью – проявляются как умиротворения, примирения; или дикопомрачения и агрессия. Чтобы выйти на понимание воли Провидения, надо ведать от Господа правду о духосостоянии народов и лиц; относительно их воли и разума; всего, за сотней засовов, скрытого от скрипящего сознания; радостно подъезжающего к ночлегу и ужину; литература и философия, как письменности часть, во времена духосна человечества пробовала свершить почти невозможное: не ведая, по сути, о душе, понять душу и укрепить человека; очеловечить неведающего себя; своей обманутости не прозрев и не укрепив Истинами от Него, и потому так трагично заблуждавшегося! на сегодня, когда частью исчерпали себя утопии, цена заблуждений и самообманов так называемых лучших умов еще только подсчитывается; в счетоводы нанялось премного; сосчитают истерзанных, искалеченных, поубитых, а разуверенных и духовгробленных не заметят; как всегда; *не придадут значения и неизлечимому, неисчислимому душенасилию, впечатанному в геном потомков*; сегодня, когда сверхочевидна тщетность ума человеческого без Ума Божественного – без Божественной Мудрости, наитствующей от Господа – когда слова «сострадание, любовь, милосердие» так же ужасны, как проказа, а в лучшем случае отброшены, как архаизмы, пылесосным практицизмом, когда цель всего: поглощение, от интеллекта до телесности, когда благая цель затерта, затоптана, как горизонт ночью, зачем какая-то литература, забытые в углу книги и среди них том-другой Чиладзе? но именно сегодня немаловажно осознать, как непросто нащупывалась дорога к новосостоянию и новой цели, во времена недавних; советской литературы; как виделось исцеление по Чиладзе; ведь неслучайно тогда литература стала заменой богопознания и почти ступенью, приближающей к сиятельной Истине; к навсегда определению: в чем радость? как и для чего жить? во что и как всем нам верить? а по сути: *как и что Любить?!* чему посвятить и кому пожертвовать себя? ведь Любовь и есть цель; Любовь и есть душа; Любовь и есть та движущая сверхрадость, которая и приводит в действие как индивида, так и громады людей; народы; человечество; талант – лишь малое проявление большой Любви! больших деяний всех; при недостатке Божественности, она незаметно, в духоестестве, заменяется земнолюбовью; насыщающей чувственность, – чувственные цели – и уже ее недостаток взводит волю к насилию; к агрессиям; правильной: насилием уже является само владычество чувственной, внешней любви, над Любовью внутренней, принятой от Божественности; жестокость лишь малое проявление заблуждений – и блудов земных, обрученных взаимной страстью; блудожесточие или жестокоблудие – жестокость убитости, ожесточение в заблужденности – лишь малое проявление насилия, причиняемого Милости; блуд жесток и нагл насыщенно-

стью – ума ли блуд, тела ли блудяжность; одно более присуще мужскому, другое женскому началу; они так и бегут друг другу в объятия: для очередного убийства Каином Авеля; охотником – пастуха; жестоким – ласкового; кровожадным – смиренного; охотник духовно соответствует тупым познаниям иль вере разума; пастух – то же, что и овцы: невинноблагое милосердие; внутренний к добродетелям порыв; *маленькое, посильное деянье Самой Великой Любви*; милосердие не по уму, а по состоянию наполненности им; поиск, извечный после каинства, поиск Золотого Руна: приближение к милосердию через познание духосоответствий; через истинный, личный духовный опыт; когда Чиладзе «нагромождает» метафоры, мифы разных времен, настаивал их на винах родины, многим казалось: он утоляет ими собственно грузинский опыт; он обрамляет ими национального достояния жажду; в давно возвращенных корнях зрит исцеления от забвения – и небытия; переносит мифы на почву нацопыта и создает полумиф поэтической, эхом подпетой реальности; думаю, он и сам до конца не осознал суть и плоды эксперимента; как каждый честный целитель, сомневающийся в силах больного и силах своих; ведающий о неисцелимости от судьбы; как и каждый ученый, нахимичивший таблицу, прорентгенивший длань – какова важность сего? важность художественных открытий не заметят долго; пропущенные через поэтизм, зрелый поэтизм прозаика Чиладзе, мифические и земные образы ожили не для сверхреальности и, наверное, не для одного смакования интеллектуалов и любителей иногда почитать на ночь – ожили, как напоминание о поиске авельства; каиниты ведь бродят в жаждобое смерти, но их, как известно, непозволительно убить – таким терзанием вера разума, верие только в себя, в познанное внешнеумом и чувственностью, таким способом, долговечной дорогой странствий, над которой пылится за послушной лошадей и эскулап в ночи, таким разубитым самознанием человек приближается к авелевой правде; к тому, что внутреннесчастье и радости его – блаженнейшей и желанней всего начувствованного; позабытого через день; изнепотребленного, как поглощенная материя; вышшеблага не создающая; учено говоря: иссякаемый источник энергии; образы Чиладзе ожили, как напоминание о поиске, в котором длится безутешность – мифических и простонародных героев; их жажда идеала, неиссякаемого родника, их к Любви влечение – и свечение навстречу ей; потому и жизнь его людей внутренне мало отличима от жития предшественников; века назад; вся суть терзаний каинства, – проучений на дорогах, – отпадение от сокровенной Любви и Ею совершаемого любосердия; загубление Золотого Руна – и потом невозможность найти; обрести его; загубляет не чужой, не кто-то; всегда своя внешнелюбовь – ее неисчислимыя прихотения; агрессия удовольствий; только в себя, только себе; только в своих, только самим; загубляет отринутость – к хищнической и прагматичной антилюбви; хотя она и одевается в нежности, корчит ласку, все пытается угодить, завлечь, обольстить, довериться ей, так нежится засиренить уши, запаматовывать ее и, как можно превыше, ценить все пылко-чувственное; хотя и прельстива, но ненадолго; она маскируется то пустой обыденностью, то простой дозволенностью, такой, как чистая физиология, сексуальная необходимость, полудружеские отношения; выгодное партнерство; но есть вышшепонятия о Любви, и заменить их невозможно; как небо простынею; невозможно подменой слов изменить



суть Любви; как высшесостояния; тщету прожигающего, всесовершенствующего Блага.

Любовь, вдохновившая Чиладзе, я думаю, была любовью к открытию пути духоразвития: своему народу; своему поколению; своему человечеству; пути, остерегающего от каинства и его вечнорока; впечатанности в геном всего накошмаренного в озвери; в самовосторге немилосердия; его внутренний художественный монолог, его шахматная осторожность вымышленными фигурами – не игра вымысла, ради красот вымышленности – его монолог: о приближении к пропасти; о прохождении по краю; надолго ли? его напоминание: об адских глубинах – в окультуренном, оцивилизованном человечеще; его монолог: об уходе от пропащести, и медленном, почти незаметном, ввысь устремлении; к златорунности милосердия, блистающего солнцезолотом; к наполнению неземным; к жизни Вышеблагом; подтекстуально, ненавязчиво, что характерно для сильного художника, он уводит от проклятости; остережение, уход от зла и есть началом истиннопознания и приближений к высшеначалу; первенствующему всему; к Любви и благу ее; к радостному милосердствованию; в приуготовлении к бессмертию; коим и есть вся жизнь, если понимать ее правильно, с улыбкой древности – как скорлупу; птенец не должен засиживать себя; завоняет смертью; здесь и там; здесь и в вечном; задохнется вечносмертью адов, всей злобствующей, всей гжучемстительной проклятенью их; пожирающей пожирателей, отмщающей мстительным их собственной мезтью; птенцу не выжить, забыв о первостепенном; первенцем была и есть спасительная Любви сила; отрывающая сверхмагнитом; жертвовать первородным – ягнят и птиц – признавать и помнить: Любовь от Него пожертвована; наитием; всем жертвованием стремиться к Ней – делами всей жизни.

Как не могущий не петь, Чиладзе создавал нечто большее, чем торжественно-печальный образ Грузии; больше, чем образ времени – зафиксировав одно состояние (стада у пропастью) он, одним сожалением о стада участи, может, и неаявственно для себя, в каждой строке уводил к тому, что над пропастью; над чувственностью; над внешней участью; над предткновением в тления; уход от злочувственности, от тирании ее над внутренним – и от злочувствия мира – вопрос лишь земного времени; как бытие вечности творит одна Вечнолюбовь – так нежелана, так нелюба нам часто – так во внутреннюю любовь превращено будет и человечество; иное и невозможно; ибо оно противоречило бы цели Творения: воссозданию всего в человеке по образу Его и подобию; по Истинности и по состоянию Любви; все Возрождаемое соответствует Родителю и уподобится Ему; те 10 или 100 тысячелетий человечества – цифра на бумаге, если не помнить о Его Провидения цели; много было всколочено с адоглубин, чтоб отодвинуть иль изничтожить цель; но проще, руками человеческими, запретить Вселенную; замахать и забыть ее; затмить небеса; запожарить зарение; спасибо Чиладзе, он поднапомнил; не напрямую; вскользь; иносказанием; но напомнил: мифореальностью и поэтизмом; сжатостью времен до цельности единого пронзительномига; и на фоне мига сам человек и его история приблизились к своему настоящему масштабу; к значимости относительно Творца Своего; как большой художник, он, конечно же, «обожествлял» художественность и эпизм, распахну-

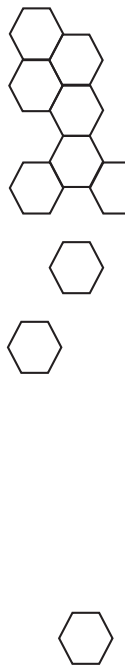
тость жизни, но заслуга его в разбожествлении человека очевидна; многие развенчивали – вышло еще хуже; правильной и полезней привести к хоть немного подобающему масштабу; хотя и тот, что есть, сверхзаумственен и безобразно далек от величины своей; от объема благонаполненности, – и единения с Ним; омгновенив историю, он и человека умалил до почти раскаянья; до готовности; но слеза не сринала; человек готов был признать: он не Бог, идеи его не богонаследование; силы антибожественны; он готов был; но снова рогом телец проткнул; увлекли прихоти, взамен утопии; для понимания огрома Творца, огромности Его вселенной, огромья терзаний людских надо было увидеть историю на длани вечномгновений; так и познается мнимость земноуспехов; земносчасть; земнобессмертия красивой жизни; в общем: земной любви, увлекающей на творение пропастей. Если лучшие умы XIX-го увлеклись возвеличением маленького человека – от Гоголя через Достоевского, к Чехову и последователям – если великое им виделось в гибнущей простоте, униженности, вплоть до забитости и сусальности, если в XIX-ом и XX-ом все внешнее, часто показушное, суть скрывающее, все чувственно-природное в человеке возвысили и наделили его почти Боговеличием; беды природного тело-человека, часто и не помышлявшего о духостраданиях, приписываемых ему, возвели в догму; то под конец XX-го в лучших свидетельствах – от Шаламова до Чиладзе – удалось умалить его мнимое горе и сверхвеличие; сострадательность; благоемудрие; богоподобие; масштаб человек был приведен к более правдоподобному: кто он перед всемогущим Провиденьем истории? как велико его могущество перед Всемогущим? что из радужного вначале не умыло кровавой радугой; реками кровищи; вздыбленной от ужаса; думаю, в умалении человека, потерявшего в злобе свой масштаб, и есть главная ценность художественной мысли конца XX-го, начала нынешнего; не развенчание, а по-новому сострадательное умаление; не слезливый восторг несчастьем, а понимание падшей мализны пред всемогущим Грядущим; и не в потеплении; не в расчленении растленных, подобием психологии, а понимание почти бессилия; даже для покаяния; для малейшего совершенствования; не развенчание человека, а понимание лживости его венца, того, что зазнание, замудрие, книжная, кинотеатральная закультурность не является и толикой Мудрости, не говоря о воспитанных на районной газете и ночном жутковизоре; той Мудрости, что приуготовляет к вечности и здесь очеловечивает; не развенчание человекоумудрия, а осознание того, что Мудрость будто бы пропала; она же была, есть и будет у Господа и наследующих глубинно, по Слову, Учение Его; идеи умов человеческих доказали свою безжизненность; тем пустозвоном равенства и воцарением справедливости, тем социальным бредом и рая близостью, что набудоражили и привели к пустотности; по своему размаху более убийственной, более опустошительной, чем растерзания ордами и нашествиями; с кого спросить за столько ломаний, калечений? изломанных тростниковых судеб, будто ураганом по дельте; где те идеи? где те газеты? пылающие в печи революций манифесты? где разжигающая глашатаев и слушателей словесность? где те прокламации, хрипы митингов, площадная беспощадность слов, будто о мире, когда не было мира – и не предвиделось; не было мира – и меч проникал в осердие; умиротворенье отсутствовало; где та, гложащая страстного клас-



совой борьбы, расовой борьбы, религиозной борьбы, зверствующей на крови и жажде жестокостей? где та, затупывающая тупостью, дьявольщина и раскормленные ее последователи? всех пожгло; жестоконасилила жадность вытерзало, как у грудей вынянчило, все последующие состояния вскормленных неволей орлов седых – все приведшее к доселе немислимым растерзаниям, пыткам, лжесудам, крушиловам; к необозримой тюряжности; действие уже определено предыдущим – душ состоянием; ненавистюгой вскипающих обреченцев; ополченцев ли, добровольцев; обречены за идею лечь; не ведающим глубиннораскаяний применений находилось мало; их страсть не вскипела; не выкипела еще в миролюбие; потом поднятое, как знамя, над ужасом подвигов; над непоправимым навеки; где это? столько дышавшее классово-вой, расовой, лжерелигиозной – люющей одинаково – злобой? по плодам узнавали их, но, как следует, не распознавали; и где вся та пафосьярня? вновь и вновь сеют, взращивают уже модификаты – на распаханном истории кладбище; удобренном тех же идей безгласностью; тех же газетных трибунов речами; теми же застрельщиками, с продолбленными ледорубом черепами; с окровелым обличьем; с тем же презрением скорых на руку реввоен трибуналов; где идеяки революционно всплывшего бессознания? превратившие мир в головню, во имя единого: упразднений Его, Единого – истреблений Его Милосердия; выжиганий всего, Им сказанного и приучающего милосердствовать; «милости хочу, а не жертвы», взывает Он чрез пророка; Осии 6.6; но милость растлили в головню, разжигая все дикоприродное в себе – ради убиений невинномудрости, осуждающей жестокосердие и избличающей его; и целью ставящей не земноцели, в дальнем прицеле; прежде, чем целиться – охладнокроветь всецело; накачанный ересью террорист, упоенная лжеидеей бомбистка к состоянию адскости приведены не религией и не долдонов пафосом – огнем жестокости; выжигающей всененавистью; то состояние жестокосердия, когда оно, уже изнутри, когтит, раздирает страны, и есть адожеланием – оно стреляет в Сараево, поджигает рейхстаги, отдает приказы; на штурмы, заградотряды, атомные бомбардировки; оно не взирает на руку, – вливает едь в аорты – и подмахнуть приказы всегда найдется кому! ошибочно мыслить, что тираны единичны; да на роль сталинов и гитлерюг было десятки уготованных; если не тысячи; ошибочно мыслить об истории XX-го как об ошибке сиятельного прогресса; подменившего Истину; деяния не могли быть иными из-за внутреннесостояния делателей – от мала до велика; бессердечие, так бравадствующее в культуре, показатель лихого начала; пустота, наполняемая жестокоплотскостью; бездушной скотскости хуже; еще немного улажений, неудовлетворений, желаний повелевать во исполнение прихотей, еще немного накала, – и жестокосердье родит новейшие цели; уже не мечтанья, а сверхжелания, посылающие все сметать и властвовать; пошлет на дела уничтожения; век усовершенствования прицелов, наведений на цель, все изощреннейших способов убивать, уничтожать, унижать, век развлекательного насилия, совершенствований в масубийствах, так и не довершил себя массовым раскаяньем или чистосердным осознанием всего наварначенного; век совершенствований в насилии так и не совершил главного: малейшего усовершенствования средств милосердия; не озаботил себя богопознанием – и глубинами Его Учения, данного в разной мере всем религиям и над насилиями возвышающего;

если не воспринимать все буквально, в легкомыслии скользящих по глади водоплавающих букашек; в глубине всех разноучений – Бог учил только добродетельствовать; Его воительство не означает иного, кроме духовое – Истины с ложью, добра со злом; побед внутренне человека над прихотями природного; духа над телом; от Бога, Самого Милосердия, Самой чистой Божественной Любви, не могло наитствовать – и не наитствует никогда – ничего призывающего к агрессивной воинственности; Бог убивать не учит! и не содействует сему! каждая форма – от человека до человечества, обозримого Ему как один человек – по прельщению своему, трансформирует Любовь Божественности в противоположную ей: в любовь к себе, и тем разжигает состояния, вдохновляющие к смерти сеням; если отсчитывать от соделанного, то суть масспогибели – в гиблой, неправильной трансформации Сверхэнергии; обращении ее в духосмерть – позже сеющую и телосмерти; пробегающим по воде быстроножкам приятней созерцать себя – в отражении метельшиться куда-то; приятней знать поверхностное, не утруждая себя, о глубинах и буре, мыслью; не потому ли Бог так приблизил к сердцам литературу в то пылающее зловремье? чтобы не исчез остаток доброго – и Добру отзывчивого; песнь о темной ночи умывала слезой миллионы, как живая, миллионголосьем пропетая молитва; не так важно, что пелось в ней; ритм и мелос задевал струну; невидимое касалось всех; народ духоединствел; дух его милосерднел; прощаясь с жизнью, дух возвышался; и колыбельнел надеждой; дух возносился над малостью своих страданий – и, сродняясь с такими же страждущими, воспревал в бесстрашие; жертвенной всенародности; действием для всех, во имя всех – пусть и звалось оно победой; малость ожившему от духосмерти смерть не страшна была; он готов был ее честно и снова принять; встретить бессмертием; молитвенность, тонким щемом разлитая в литературе страны безбожества, чиста и вдохновенна; потому и звучат те песни, читаются те романы, те фильмы смотрятся, как из допотопной жизни – как будто праотцов светятся нежноулыбками лица; идеи века сожглись в эмоциях воплотителей их; в пепле все та же горсть чувств – яркой памяти художественных запечатлений.

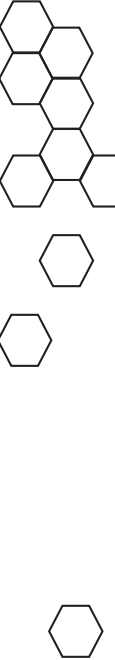
Железнодорожный век, дящийся тысячелетья! железо, смешанное с глиной в ступнях вавилонского истукана; разбитое камнем, оторвавшимся от горы без усилия руки; развеянное, как прах на летнем гумне, унесенное ветром, так что следа не осталось от него; жестоконевежественное помрачение внешним знанием; Чилладе чувствовал его призрачную, неотступную поступь, все ближе, рядом, вот уже на ступенях железного театра – постукивание стальных пальцев, скребущая камень когтистость, тот же скребущий, застеночный звук, что слышится в ястребиной тоске Бродского, звук вгрызающегося в стекло одиноких прозрений металла, звук, срезающий с высоты полета, звук обомлевшей пластинки с тишиной оконченной, лишь на словах, темной ночи. Век непознан, а посему неизжит; узколобая, помраченная фактами, социальная история – миф; злоутешный миф; торговля прахом; еще тлеющим теплом бессилия; торг безутешностью; история творится Господом через усовершенствованных им людей; способных принимать все высшие всплески Его творящей Любви или Божественной Сверхэнергии – и совершать Ею служения; если их нет или их недостаточно, наступает антиистория или опустошения; только так можно по-



нять былое – и хоть как-то совладать с ним; понять большее: с той же масштабностью, с какой недавно вершили зло, лидеры грядущего будут творить добро: вдохновенно и самоотреченно; не желая приписывать себе лишнего – и не погрязнув в корыстях; приняв важнейшее: Бог убивать не учит! побеждать зло идущей от Блага откровений Истиной; в этом начальная степень всех приоткрытых верований; нынешняя же историомания будоражит к противоположному; мифологизация недавних тиранов и их сподвижников, как и демонизация их, добру не способствует; отсюда, мне кажется, и феномен стойкого интереса к мифической прозе: наполненный смыслом античный миф, вживленный в ткань художественности, звучит полнозвучней оголтелого реализма; голая история-«достоверности»; мифа красивой бессмысленности; кучи сказаний о потере смысла; точнее: потери понимания его; критикам мифотворчество видится как прием; но кто узрит ту невидимую руку, вложившую в головы немногих авторов способность срастить давнопонятое с непонятым ныне? боль терзаний внутреннего, обретающего волю к добру, человека с огромном терзаний внешнего человечества, удушающего своей заприроднелостью глубинноволю к благому действию; к искреннему совершенствованию; к единодействию из милосердия. Можно сколь угодно долго говорить о частностях прозы Чиладзе, как и других «мифотворцев», но важно помнить иное: их творчество возвышающе над стонущим прахом мифоистории; гуманизирует смысла останки; после стольких историеразочарований, как говорилось в школе, оно подсказывает: жизнь не совсем и не всегда напрасна; если видеть в борьбе болезней да горестей исцеляющую духа борьбу.

И все же: развенчание культов, развенчание безлико бесчисленных диктаторюг, убиюг, людоедствующих бокасс, не говоря о мессианствующих и лжепророчащих, есть развенчанием главного лжемифа о добродетели и праведности идеального, или идейного, маленького человека, разным коварством, глупостью избирающих приведенного на роль опустошителя; личности в истории; когда мелкобесы пророчили о морали, порядочности, о процветании все – история останавливалась; миф о богочеловечине начал выцветать уже под пером Булгакова, и нет ничего удивительного, что только под конец шариковщины такому поэзоэпику, как Чиладзе, пришлось соединить мифическое (а каждый миф по сути – иносказание о борениях духа со внешним злочеловеком, с дурью иллюзий, с мерзкожеланиями, со всем, мешающим духовозмужанию, духостановлению, духозрелости: внешнее каинствует над внутренним, желающим искренне добродетельствовать, плодами Духа питаться и насыщаться все большим и большим благом), соединить гераклствующее всепобедимо с вялотекущим, заспанным реальным бредом; неуместимым в понятиях гуманизма и привычного человеколюбия; то, что наделано самообожествленными, провозгласившими себя честью, совестью, ума богочеловеками, несоразмерно с обычной трагедией; само мнимовеличие праведников в мундирах и кителях, с рукою с бритвой за пазухой, с рукою, как плеть обвисшей, само коварство сих полководцев потребовало детей олимпа; поднять на прю геракла: духа всепобедимость против ада воинов; ибо наделанное человечинами дегероизировало героизм – что заметил еще Хемингуэй после первой великой бойни – надругалось над представлениями о чести, мужестве, подвиге; высокой жертвенности; все удушила газовой смрадью бессмысленность;

ткнула лицами в брустверы и больше так и не дала им в полный рост подняться; насоделанное разъело пафос, как ядерные осадки каждую клетку каждого из живущих; вместо надуманного всеумудрия, вместо лихорадочного всесилія природный человек обрел венец неверия в себя; в полубезуми он верит вещам, обретя неверие в нужность своих деяний; миллионы пришли к убеждению: их жизнь потрачена на недостигаемое, ибо несуществующее, сверхидеальное; их мечта истлела, но остался надрыв – впечатанное в потомков во всё неверие; холодрыга нелюби; малосилие для самых будничных подвигов; малейших побед над собою; отсюда их потребительство; но остались и воспоминания, живой, искалеченный, но неизбывный опыт; литература уровня Чиладзе и вдохновилась им, соединив мифическое, внутриборческое, с реальным борением собой побежденных; Чиладзе удалось создать трепетную, тончайшую красу единовременности; не связь времен через связь культур и образоподобия – а, именно, живое единовременье, непрекращающуюся, надмифическую трагичность духоборений и тленного земнобытия; во времена обожествления человека природного, как и родового, национального, прагматичного человека – всеми способами самооправданного, избегающего покаяний – во времена человека самодовольного и расприкрашенного лицемерьем, внутренний человек в задавленности; в низменном упадке; он задавлен внешним агрессором; потребительская, корпоративная, милитарная агрессивность – отсюда; но он, тот воин, что пробуждается в индийских ведах, он, тот Зевсов сын, что при рождении душил змей руками – удавливает духосилой самую низменную чувственность, сверхжелание ее, жалящее смертью, отвлекающее от духоработы – он, искательствующий златоруния, он везде и в каждом, пробуждаемом от спячки; он чрез ожившие древнемифы допобеждает лжемифы нынешнего – горгонит фантазий головы; священных коров спасает – хранит от злобы милосердных; он, как никто иной, изнутри внутренность видит – всюду выгода, выгода; вместо общего блага; всюду свое лишь дело; вместо общего деланья; интерес друг к другу держится на одном желании позаимствовать; благо у ближнего; блага – и благи самой да добродетельств ее – все меньше, меньше; а чувств отвратных и дел стомерзких все больше, больше; мерзость проявленная, мерзотень в бельмовизоре – лишь малое их отражение; мир убывает от немира в себе; умерщвленный мирщением, сверхлюбовиной к миру и себе, человек радостно ужасается, видя теракты, потопаы, войны; опять не со мной! снова пронесло; и понадобится не одно сверхкризисное содрогание, чтоб излечить так понятное: нигде никому не спрятаться; не отсидеться; недавно уже отсиживались – и засиделись на нарах, под нарами, в углах, на полах, миллионщиками; мир убывает от жестокосердий, раззужив природнолюбовь; внутрילוбовь и ее милости – всплески – сострадание, сопереживание, соучастие, радостная отзывчивость, бескорыстное содействие, – за вечноучасть ближнего уболевание – кажутся мелкими и ничего не значащими, будто их нет; и не было вовсе; будто это кино о другой планете; земноцели и их прескотские удовольствия, вдревне званные золотым тельцом, вызывают больший восторг, чем призыв к отмщению мироедам; дорога наклоняется к пропасти; цель – ради мира – ослепительно возбуждающа и жестока, как долго планируемое убийство; ничего не стоит с разбегу, – в гоньбе за успехом – перепрыгнуть Заповеди, переступить

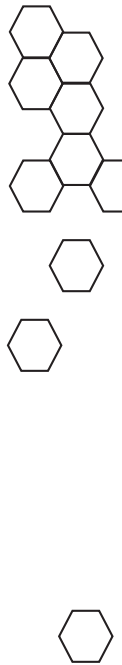


человека; перешагнуть через недавно любимое; переступить народ и обещанное ему; по спидам, по вогнутым головам, перепрыгнуть через дружелюбие; через замуренное младенство любви и его осиротелую нежнопамять; и, наконец, попробовать перескочить через хрупкое мира равновесие; войны и революции, как терзания земноцелью, необратимы, пока она будет главенствующей; в ином масштабе, в ином – финансовом, экономическом, геополитически-склочном виде – будут; «да обратятся нечестивые в ад – все народы, забывающие Бога», Пс.9.18; и никогда не быть иному; простейший урок человечество так и не усвоило, и не признало до глубиннораскаянья; до понимания внутризла своего; к чему все иные вопли? к чему политика и геополитика, когда Богу отказывают в возможности править миром? чрез совершенство подраскаявшегося эго; но простейшего нет и в помине; важнейшее никого не касается; будто только писатели – из них большинство ушедшие – пострились в спасатели и утешители; сытых и перепитых пивом; играют им на свирели отвлекающие звуки; серьезности никто не воспринимает всерьез; умиляя себя – и тем убеляя себя; жестокосердие, так немало воспетое литературой XX-го, не сникло после отмахивания от него, а в глубинах всего дармового желающих родило иль возродило змеиноцель: все в себя; все для себя; заглатывая и переползая лежащих; дорога ослизла; пропасть стала родней и ближе.

Историю – и литературу как ее художественное отображение – принято мерить уроками; оценивать внешелик бытия без замыслия, что же случилось с человеком? впитавшим сверхжестокий, нечеловеческий, сверхтрагический опыт; что с геномом его потомков и на какие он, некаявшийся – ибо несведущ в чем, – решится подвиги? концлагеря? химатаки? испытание на разрыв планеты? вместо ядерных испытаний; что он еще наворочает; в целях самообороны; наконец-то объединенный тоталитаризмом безжалости и безучастности всемирной; под предлогом свободной торговли, чем еще торгануть ему? когда купола перепрыгнули, и мать давно пропили; чем еще вдохновиться для революций успеха? сугубо личного сверхуспеха – торжества над ближним; что совершилось в человеке, совершившем столько трагедий – и что вершится в нынешнем? творчество Чиладзе тем и ценно, что сей главнейший вопрос он решал с той же углубленностью и обреченностью на непонимание, что и его предшественники; Толстой, Достоевский, Шаламов; средства, мастерство, краски – разные; суть неизбежно печальна; внимают звукам, но не призыву мелодии; как сложно представить улыбающимся автора «Идиота», так сложно, оптимистически и жизнеуспешно, мыслить о жизни, дочитав Чиладзе.

Время есть состояние идей; время – лишь способность внутреннеума к Богонитию; вечности, даже каких-то несчастных миллионолетий, мы не ощущаем; и не понимаем; не постигаем и сил вечнобытия; всесила Творца не чувствуем, а потому и не признаем власти и непоколебимости Его Законов; «*вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобой. Подлинно, совершенная суета – всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то*», звучит с прадревности в 38 Давида псалме; напоминанием: человеческое слишком конечно, чтобы самому от себя почерпнуть неизбежное и онадеедить себя непоколебимым надмирьем; миром Истины;

человеческое стало сверхконечным от неведи им истиннолюбви; невосприимчивости к непостижимому так; и спешащих к богонаследованию в беспросвети незаметно; повторяющих, «*ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь*», Пс.62.4; посему и окончечел, до окончечеления, человек; необрезанность сердца от гнусножеланий – причина причин ХХ-го себялюбий вала; кровожадности его; в жадобе выжить и хорошо пожить; за счет другого; человек окончечел – и почти окончился; время же есть состояние человекоев относительно их перцепции, – не имевшие ее и жизни не имели, – их способности воспринимать и понимать вечнойидеи вневременности; Жизнь Единоживого Господа; богонаитие во внутреннеум; от обращенности к земному иль вышнему – истинное качество человека: есть ли он садом Божиим, касающимся головой небес и плодоносящим доброплодами мудрости? зачерпывающий ли небесность, пьющий ли глубинную перцепцию и соответствующее вдохновение? или он – древо познания – использующий только внешнеум, пелену сознания; уловление чувствами; верящий всему чувственному и вытканному из жизнеопыта; плоды сего дерева, как известно, неуютны; изгнали из сада небесности – вглушили перцепционное; от Бога наитствующее; нелюбое гиблоуму; отучающее от удовольствий и помрачений внешних; от создания своего человек один и тот же; вся добротная литература – и творчество Чиладзе тому подтверждением – свидетельствует: человек малоизменяем; иль маловменяем; он просто прошел по кругу; но таким, каким застала его письменная история, он изначально не был; книга Бытия – первосвидетельство о сверхсознании; главнейшие цели – истинный Жизнезакон – навеяны на глубинноум; с тех и ближних времен человек лишь обращался; лицом к земле; к пыльной земле и зовущей пропасти; к земномыслям и отвращению небесностью; скорбь о человекопадении – отпадении от восприимчивости – скорбь о безуспешном поиске Истины главенствующа, от античных мифов до их озаряющего преломления в рубинах советскости; неуловимое, как радиоволны деревянными граблями, присутствовало – и звало, звало к себе; сподручней было взять мифологию, чувствуя в ней не просто загадочность; многосмыслость; строй, выжигавший Богомудрость, боролся с непостижимым ему; выжигал себя в богоборении, безумствуя уже тем, что возжелал запретить Вездесущего – граблями запрещающая поющие токи; прекрасно обычное тысяч пять лет назад стало угрожающе опасным во зловременьи цивилизованности – человек не зря прошелся по кругу: от высшевосприимчивости и благонаполненности до невосприимчивости и зломрачности; подвело деревцо познаний; и толпы вождей и толпы толп, верящих им, навсегда слегли в его удушливой, ядовитой тени; духородство коммуноутопии и фашизоутопии преочевидно; но главное – не внешность черт, лагерей, режимов, порядков схожесть; главное: их состояния; тоска, тоскина по уничтожению и самоуничтожению; главнолюбовь их была в этом; остальное, как быт палача, прилагалось; со временем бытовое, вынужденное, превознесли, восславили и выдали за главенствующее, а главнолюбовь подзабыли; помнят стройки, ценят сталинки, отстроенные города, освоенные земли – мысль не добегают так далеко, чтоб увидеть: были бы войны, если б не было чреволюций? чревовосстания против Богонаития; не было способных правильно трансформировать его – и использовать во благо; малоспособных и приведших в адскость нашлось предостаточно; их и немного



надо всегда; как ложки дегтя; наглая малообразованность вождей-слабоучек и такая же малограмотность масс, почувствовавших себя сверхлюдьми, добавила им куража; почти бесстрашия; почти бессмертия; решительной всегдаготовности погибать и губить подобных себе; верой в сознание опьяненные, рвущиеся к сверхидее – утверждению своих сверхзаконов, лучших и важнейших от Божественного – верой в себя окрыленные не могли не считать жесточайшесть подвигом; земной страхотрепет – и радость его – заменили страх Божий; страх нарушения Духопорядка; давно неведомого через извращение истин и осмеяние их; состояние зауми – переполненности невоплощенными идеями, планами, прахожеланиями – прорвавшиеся в начале века и кипевшие вулканической стихиейжестокостью до полного окаменения, лишь подтверждает, насколько губительны, природно жестоки, человекоидеи без главенства Богоидеи; насколько воплотителей зла более, чем держающих праведности; мысль о Чиладзе в размахе мировой литературы, видишь, как он пытался запечатлеть гримасу гибнущей человечности; как помнил и напоминал о слабосилии человека и дикожажде, чернолюбви к погубляющему его насилию; о вечной спешке – ступить на дорогу каинства и поспешать от тени в тень; от недоброго к пагубному дереву; сказать – сочувствовал – ничего не сказать; звал в обреченную малую радость видеть – прозревать бессмертие; осознавать сверхтрагичность заумственного, утонувшего в неизлечимой растреве, человека, тщету его надежд и деланий – и воспевать его: непросто; так пчелы, собирая под осень мед, изнашивая крылья, укорачивая мгновенья, едва ли знают, что им весны не видеть; медом им не воспользоваться; в клубе родных не отогреться; они обреченцы – на труды и заботы; но если б замыслились? остались бы так в работе счастливы до забвенья, так о смерти неведаящи? так каждым солнечным днем до забытья радостны – и тем предзабытьё побеждаючи! писатель и есть скорбящий над малозаметных участью; тщету отмечающим; тщетность в замыслии; в желании себе; мед носили одни, сработали себя; жизнь продитса другими, зимой не труждавшимися, но дящими, дящими маленькое тепло, в терпении и безрадости, выжигающей не меньше полетов; и писатель подмечает: высшая справедливость не в жизнедлении и наградах, а в служении до забвенности; в служении самозабвенностью от скорбей защита; защищая их, он защищает и себя; молчаливо скорбящий Чиладзе всем творчеством уводит от тщеты; видя ее, понимая ее, но возвышая миг во вневремя; не красот и метафор ради; от нежелания, чтобы пчелы начали сомневаться; в правильности судеб; все отмерянное традицией пребывало в незыблемости до сомнения; все радовалось отпущенным ему служением; взгляд на себя – и работа в разлад; пчелиный ритм разрушен; в провале за-втрашнего гибнет предвечное, впечатанное в них – радость деяния, забывающая себя; будущее гибнет от неприятия его; мирный ритм превращен в желающую властвовать агрессию посредственностей; выживать как можно дольше! изгнав других; покорив других; заняв дома и мед других; поверивших в беззаботность; обоготворивших безнаказанность; утвердивших злопорядок идей над благопорядком размеренно жужжащей Мудрости – неизвращенной любви к добродейаниям; для всех, а не только себя; миг дясебятины – и все плачевно; стадо у пропасти; пчел цветы не радуют; но высшее целительство: остановить закипевшее сознание; разлад беспомощных

идеек, просящих невыносимо желаемого; литература немного останавливала; отвлекала, откликала; мирно пощипывающих над провалем; мирно влекущихся к пахущему наслаждению; но остановить двадцатый от его сверхидейного начала лишь Господу было под силу; ради своих желаний, Его не пожелали; эскулапство в ночи – из того же мужественного разряда: обратить необратимое; уже сама попытка возвышающая над пропастью; в дни смирения с пропастью стоит многого; забытия в добродействиях; за отречения одаряющая лучшей памятью о писателе – детской верой в незыблемость им упорядоченного беспорядка; начальной верой в грядущий, когда-то возобновимый, Единобожественный порядок; «и будут все научены Богом», Исайя 54.1; «всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне», Иоанн VI.45; слышавший и научившийся – возрожденный к тончайшей перцепции и дарам ее; к добродеяниям силой от Него.

Писатель не Бог.

Прямой путь – дела и мысли, ведущие к праведности, от пропастей – указаны Им Самим в священном Писании; но и литература, на мой взгляд, может немало; было б желание; может осерьезнить жизнь; именно внутреннежизнь; вернув ей утраченную неразвлекушную ценность; задавленную, заасфальтированную сугубо земными целями и ценностями из пепла; задавленную широкой дорогой, известно куда; над пропастью, жгущей огнем неудовлетворений; зажигающей на все новые; насколько обломные цели? верится: дети будущего, из опыта веков и собственного духоопыта, будут признавать как аксиому: животноцели по радостям своим и вблизи не стояли с истинно духовными радостями; и, зная степень любви, не вознесут до небес земное; не возлюбят того, что вышерадостью не одаривает; то есть обделяет живым тонкотрепета счастьем; как случилось за последние десятилетия; есть многое, но главное улетучилось: живое духообщение и простая радость его; даже такая маленькая, как радость художественных открытий – не с кем поделиться; никому не интересно; радость сверкающей детали, такой, как говор копыя, то сердитого, то шутящего с девочкой в романе «Шел по дороге человек», кого она пронзает? отсутствие просторады в отвергших ее привело не только к малочитаемости, малотиражности; падению словесности почти до мычания; не только; отсутствие высшелюбви является причиной саморазрушений – от клетки, возжелавшей потреблять излишнюю земноэнергию, питать и напитывать себя, и запускающей сверхделение, онкологию, до распада человечности в ожадобленном человечестве; возможно, я старомоден; но старомодие не навредило; тяга к поверхностности, мода на успех, – наследие безуспешного коммуноутопизма – ведет к наиболее вредной из всех вреднопривычек: к легкочувствию; практически к бесчувствию; но надолго так не бывает; человек не бесчувственен – даже самый жестокий – как бы он себя ни обесчувствливал; ни заставлял себя обесчувственнеть; стать сильнее внешне; тем жесточе и неотвратимей взрыв; этот мотив глубокотрагично – эхом падения в пропасть – звучит во всех романах Чиладзе; звучит сквозь ранимость поэтизма, сквозь мужскую недосказанность и многоведанье в недомолвленном; звучит сквозь многоплановость, желание высказать, досказать побольше, скрытое в насыщенной густописи; звучит над эпизмом вневременья; звучит с упоением молодого поэта, впервые воспевающего любовь;

от переполненности и проза Чиладзе; мало кому из поэтов удавалось стать прозаиком, сохранив поэтизма зарение – в сердцевине слога – так чтоб он и внешне блистал холодом классического стиля; поэтизмом и хладностью удалось зафиксировать лучшее в человеке XX-го: приглушенный лиризм сквозь жестокость; непобедимую во всех свершениях и победах; жестокость XX-го переросла в сверхжестокость практицизма и то прекраснейшее изобретение, именуемое свободной конкуренцией; в наджестокость жаждущих убожаний; орущих на стадионах; завтра – на маршах; в неописуемую безликость, так как характеры и человечность исчезают напрочь; неверие в Бога сошло в неверие в ближнего; о ком писать, кого воспевать, когда помнить чудное мгновение? если главное чувство выставлено на глумление и осмеяние; на поспание корыстью; в зверином царстве больше любви, чем в sms-переписке вчерашних возлюбленных; поклявшихся догробно вместе быть; слова потеряли силу через бессилие любить; не той красотой взялись мир спасать! разве конкурсы наготы имел в виду неулыбчивый? бессилие любить! отсутствие вышешлюбви, похотливостью вытесненной; и пустота; дрожью бьющий с костей хлад безлюбья; когда-то нынешнему бесчувствию мир ужаснется сильнее, чем трупам, горам трупов прошлого; имею давнее подозрение, что жертв нелюбия, так называемого одиночества, жертв брошенности, забытости, отброшенности сдуру, жертв душетерзаний больше, чем на полях брани полеглих; жертв вдовства, ранней старости; алкоголизма; опущенности; больше, чем на боевищах покалеченных; физические терзания одних не легче мук безысходности, холода безлюбья в процветающих джунглях; неспособность любить – вот главнейший подарок прошлого; и тем важнее помнить присутствие горних чувств, энергию чувств в еще недавно созданной прозе; но рожденной, кажется, тысячелетья; с исчезновением искренности в литературе вышешпотребность в ней отпала; исчезла искренность – и исчезает желание узнать другого; раскаянье невозможно; все опутано подозреньями, обидами, заведомой ложностью о другом; сблизает прицел и цель; выгода успеха; как притягательно было стать коммунистом или нацистом, так ныне успешным; зловдохновение под разными стягами; суть неизменна: переступление Заповедей и добросердствующего человека; умеющего трудно, но не вскользь любить; пылесосная наухаченность – все в себя, все мне – разорвала не только со слышаньем ближнего; себя доглушила; кто слышит нас? кого слышим мы? забитая и застрашенная успешняками интеллигенция поспешно отеклась от самого слова «служение»; может, и правильно; может, пора и народу послужить своей интеллигенции – и хоть немного понять ее; войти, так сказать, в ее положение; интеллигенция отслужила и переслужила, наверное; не о благодарении речь; о взаимопотребности; иначе жить зачем? я хотел написать о творчестве – о вине и песне – но вышло о том, как упоение земной любовью угашает небесную; как заренья гаснут; а все лучшее о себе пусть доскажет автор; он, писатель мало-заметной на карте страны, в неантичные времена, на классическом выдохе, свое предназначенье выполнил: вневременно и масштабно; сроднив человечность с растерянным, обездоленным, обезлюбленным человечеством; и да повезет так каждому! прочитавшему его.

07.04.2010

Когда русская проза пошла в лагерь...

Марк БЕЛОРУСЕЦ

*По утрам, до поверки, светлы и тихи,
вы на нарах писали стихи.*

Б. Слуцкий. Прозаики

ЗАБЫТЬ И ПОМНИТЬ

До лагеря Семен Глузман, помимо занятий медициной, сочинял рассказы. Показывал немногим, в том числе Виктору Платоновичу Некрасову. В семидесятые «с гурьбой и гуртом» получил семь лет лагеря и три года ссылки за «антисоветскую агитацию и пропаганду», статья в советском УК именно так и была сформулирована. В тюрьме, а после в пермском лагере «пошли» стихи. «Прозой разве утетишься в горе!» – восклицает Слуцкий в стихотворении, строки из которого вынесены в эпиграф. Но разве стихи, что слагаются на нарах, лишь способ утешиться?

Давно, где-то в середине восьмидесятых, я написал с таким эпиграфом о лагерных стихах Семена Глузмана. Написал через несколько лет после того, как он, отбыв полный срок, снова оказался в Киеве. Мне передали машинописные списки, из которых впоследствии возникла книжка. Теперь какие-то места в этих заметках пришлось убирать или менять, они мне видятся слишком патетическими и надрывными. Ничего удивительного. В то время тюремно-лагерное пространство было будто рядом, едва ли не дышало в спину. Сейчас оно отдалилось, трансформировалось, приняло иной, по-прежнему, однако, невеселый облик. Многим это пространство представляется вообще каким-то ирреальным – во всяком случае, его бесчеловечная сущность мнится преувеличенной и «приукрашенной» в разных воспоминаниях, романах, фильмах и спектаклях. Но есть свидетельства о тюрьме и лагере не сталинской отнюдь, а недавно минувшей эпохи, от которых нельзя отвернуться и сказать себе: ничего такого не было. К ним, по моему мнению, относятся стихотворения Семена Глузмана, написанные там и тогда. Правда, и для него, лагерника, та реальность лишь отчасти была явью. Как иначе выжить?

«Я сплю уже пятый год», – говорит он о себе в зоне. В его поэтическом пространстве существуют, порою пересекаясь, два мира. В одном из них снится дом, и из «боли, тоски и памяти» выплывают приметы, реалии жизни, которую вместе с «вещдоками» изъяли, но так и не смогли отобрать. Тюльпаны на столе, «истёртые старые плиты» двора, мама... «У белых плиток нашей старой печки отогревает руки». Каждая из этих вещей памяти означает всю полноту почти потустороннего бытия. «Отогреваю воспоминание», – бормочет стихотворение.

Много таких знаковых образов рассеяно по стихам. Как формулы магических заклинаний, они оберегают от дыхания «белой безжизненности» зоны. Так открывается «в себе остров» – некая Атлантида, окружённая музыкой Гайдна и Палестрины, шуршащая галькой черноморских пляжей, пропахшая «мускусом осенних дождей» и «выкошенной травой». И день перевит

Шёлковой ленточкой,
Оранжевой, как апельсин,
Как радость и детство...
(Арлекин)

С птицами и ручьями
Шепчется ветер в полдень.
(«Трепетные цветы» Палестрины)

Отсюда недалеко до бульвара Капуцинок в «ошалелом от солнца Париже» и до «пастбища вблизи Иерихона». Этот хрупкий невесомый мир, созданный воображением эка, многогранен и красочен. Он объёмен, у него своё небо и своя земля с «васильковой россыпью». А ближе чем близко – иной мир и иной сон – «площадка для игры в пытку». Здесь все краски монохромны и тусклы.

Тесный мир,
Жухлый мир,
Желтых листьев
Жёлтых слов...

...и жёлтое солнце.
(Вступление к сарказму)

Мир этот похож на кладбище в «саване снега». Ещё один доминирующий цвет – белый, точнее, снежно-белый, но белизна ассоциируется отнюдь не с чистотой и светом.

Так снег угрюм,
И бел,
И чужд,
Как боль.
(Огонь Торы)

Звук, долетающий из «белых стуж», – «волчиный вой». Вместо музыки раздаётся «Малиновый звон смерти», да тенькают ледышки-слёзы.

Звонко постукивают слезинки
Прозрачными зёрнами льда
И скорби
По надгробию земли
(В прозрении января)

Земля – могильник. «Промозглые ветры» иногда разрывают пелену тумана, и видишь «тонкие зебры кривых берёз», «выступающие из земли кости», «однополые колючки», «выкидыш флоры».

Два эти мира Семен Глузман вводит в Дантову Вселенную. В «Псалме скорби», с эпиграфом из «Божественной комедии», лес «дремучий и грозящий» из Песни I «Ада» вздымается «проросшей плотью человека». Парафразом Данте возникает замкнутый круг безысходности, обведенный «серпантином колючим». Тот круг, куда опускают герионы арестантских заквагонов.

Не выйти из круга,
Где ветер,
Не выйти из круга,
Где пусто,
Где смерды
Паяца распяли,
Где нет Беатриче.
(Беатриче)

Обращение к Данте не ограничивается прямыми отсылками и аллюзиями. Реминисценции ведут дальше. В соотнесении с Дантовским космосом переосмысливается триединство палач-жертва-место казни, перераспределяются роли. Нет, не злою и ничтожной волей наш современник, избравший достоинство и свободу духа, был низринут на круги оборудованного в XX веке ада на Земле. Он послан оттуда, где, как сказано у Данте, «исполнить властны то, что хотят». Это – избранничество, высокая и трагическая участь. Это – эстафетная палочка, переданная, увы, не «в окрестностях Вероны» великим флорентинцем, продолжение всё того же поиска последней правды, осмысление справедливости миропорядка. Каким же внутреннему взгляду лагерника открывается мандельштамовское «небо чистилища»: безоблачное небо над долагерной почти банальной обыденностью, от которой он отторгнут?

Вернуться в круг
Таких смешных утрат,
Такой смешной любви,
И выйти в дождь...
(Осенний дождь всегда...)

Так на границе двух миров, двух кругов, на колеблемой границе уже туманного верха и адского низа зыблется человеческая душа. Длится невыдуманный Борхесом сон во сне.

Нет угла –
 Укрыться,
 Нет угла –
 Забиться,
 Нет угла –
 Присниться
 Себе самому.
 (Головная боль)

В лабиринте кошмарных сновидений эхом отдается многоголосый крик отчаяния из «Псалма скорби»: «Накорми мертвых». Вот оно, лагерное знание:

Их голод сильнее смерти,
 Они думали только о пище,
 Голод жив, пока живы кости.
 (Псалом скорби)

Бросаются в глаза некоторые тропы поэтической речи в зоне: «и сытою любовью», «утробного смеха сытых тел», «гортанный сытый звук». Они просто вопиют о грызущем голоде, угнездившемся уже в подсознании, ставшем постоянным спутником снов и яви.

Там, в «белом бреду», именно поэтическая ассоциативная память становится хлебом насущным, залогом сохранения смысла и назначения бытия. В стихотворении – над лагерным провалом – снова связывается воедино цепь времен. Снова «всадник Ашшурбанапала» прокалывает «пикой заостренной» время и «лестница Иакова» ведет к познанию Бога, даже если она «опущена в воду» и «Бог – донная целокупность». Незамороженная «стужами среднего Урала» память хранит в себе «живых мертвых». В ней находит опору готовность души сострадать и разделять горе и боль утрат, «милосердием согрешите».

Девочки юные,
 Девочки мертвые,
 Невесты мои вечные...

Память вам сею.
 (Пигмалион)

Эта память взывает и скорбит, ведь стихотворный сборник назван «Псалмы и скорби». Но она же, помня и оплакивая, прощает.

И видеть всё. Забыв и вспомнив,
Но без желанья повторить.
И не искать событий корни.
Забуть и помнить. Так и жить.
(Гантенбайн)

Воспоминание живет надежду. Порой надежда чуть тлеет в отчаянье и смертной тоске «дней изломанных», «желтого неподвижного времени».

Увечное завтра
Двигается на культяпках
Сороконожкой
Обесцвеченных дней.
(Превращение)

Слово канет в молчание:

Мир – бестиарий,
Где поэт прочитает будущее,
Чтоб навсегда замолчать,
Обезумев.
(Гёльдерлин)

Но надежда приходит вновь «ликом Беатриче» в одноименном стихотворении. Надежда – упование на человеческое в человеке, на Божественное в нем, вопреки низости.

В щетине свиной,
В мыслях свиных
Люди – невинны.
(К Цирцее)

В надежде берет начало повторяющийся и нарастающий мотив ожидания.

Ощупать мир твой
Бережной рукой сухого дня,
И долго ждать.
Кого? Не знаю, только ждать.
(Ощупать мир твой...)

Быть луковкой добра
И терпеливо ждать.
(В кусты...)

В лагере, в тюрьме, в армии всегда ждут: ждут вестей, перемен, конца срока, конца службы...

В пропитанной горечью почве глузмановских строк ожидание прорастает новым смыслом. Оно лишено житейской конкретности, внешней направленности и устремлено к сущностному. Ожидать означает «быть с червяком, гниением и прахом» и проращивать цветок добра в себе. Это ожидание, как и сострадающее и прощающее свидетельство о лагере в лагере, наверное, тоже способ выживания, выживания личности. Может, единственный? Как еще сохранить душу живую? Даже вне лагеря. Даже сегодня.

«Никто не свидетельствует свидетелям», – писал Пауль Целан. Потому что поэт свидетельствует последним, он свидетельствует и за тех, кто уже не скажет. Подобно Моисею на горе Синай, поэт говорит перед Богом. Он возносит к Богу боль за распятую, страждущую человеческую душу. Но, если ни на миг, ни на шаг «не выйти из круга», как же трудно, как почти невозможно воплотить в слове эту боль, явить в слове, как сказано у Пастернака, «образ мира», да еще лагерного мира. Зэк, пишущий стихи, одновременно Данте, и Вергилий, и один из казнимых... и все казнимые. Никакой внутренней дистанции там, где «колючая корона над лесом», никакого остранения. «Нет угла – присниться себе самому». Так много рифмованных и нерифмованных строк, написанных о лагере в лагере, и так мало стихов. Но стихи есть. В первую очередь – стихи Васыля Стуса.

Снова и снова спрашиваешь себя, с какого Синая всматривается Глузман в лагерные «офорты»? Из какой дали ему видится «сегодняшний урок»? Его слово будто перемахивает «заплетку» и не для того только, чтобы вдохнуть воздух воли и почерпнуть силы в многоцветии мира – оно, как бы обернувшись, пристально и иронично глядит в лагерную пропасть. Оно смотрит со стороны на зэка Глузмана взглядом свободным и ироничным.

Я увожу за руки,
Воровато оглядываясь,
На кладбище в углу за бараком
Отошедшие дни
Из трясины числа
Две тысячи пятьсот семьдесят пять,
По дню в утро.
(Памяти моего сегодня)

С какой же стороны взгляд фиксирует «череп барака», «берёз позвоночника», «траву волос, проросших на трупах»? Словно установлена телекамера и ведётся репортаж:

Дед Мороз
Урезанной пайкой
Выкармливает

В камеремышь,
Прохудившимся мешком
Устиляет нары...
(В прозрении января)

Меняются планы и проступает, высвечивается, замкнутая четырьмя стенами,
сцена – театр абсурдной реальности:

Путешествуя
От стены к стене,
Изучаю страны
И нравы.

Слово движется неторопливым шагом вдоль стен камеры, в этом движении возникает ритм и синтаксис. Мне кажется, что эти четыре строки могут поведать о человеке за решёткой, о силе его духа больше, чем многостраничные описания.

Однако сосредоточенному спокойному взгляду открывается гармония мира, даже здесь – гармония и свобода, одолевающие дисгармонию и несвободу.

День кощунствует:
Выцвел небо синевою,
Вызеленил траву,
Зажёг солнце.

На белом заборе –
Длинные, тонкие, колючие тени.

На этом можно поставить точку.

После лагеря и ссылки Семён Глузман ещё до начала 90-х писал стихи. Параллельно писалась проза, рассказы и эссе, впрочем, отдельные прозаические тексты возникли ещё в лагере. Но это был уже другой взгляд на лагерное бытие. Появилась потом и дистанция, физическая и временная. Она изменила оптику и навязала другой ритм, но глаз, прильнувший к окуляру, он тот же.

И остаётся всё же вопрос: как нам быть с этим опытом, запечатлённым в стихах и в прозе, в частности, в стихах и прозе Глузмана? Забыть, по всей вероятности, не удастся, по крайней мере, в ближайшее время. А неторопливый шаг вдоль стен нашей действительности как-то не даётся. Не говоря уже о внутренней гармонии и свободе.

1986–2013



Семен ГЛУЗМАН

ИЗ КНИГИ «ПСАЛМЫ И СКОРБИ»

ОСЕННЕЕ

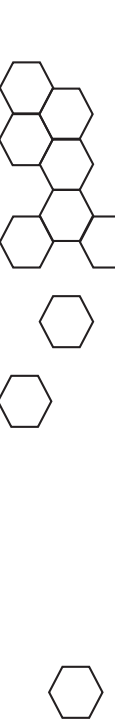
Лагерь – та же земля,
Та же осень.
В зелени сосен,
В желтизне листьев,
В синих мыслях:
Ветреным днем,
Ночью ветреной
Я дышу не огнем,
Плотью мертвенной
Из павших листьев
(Костей замытых),
Дождей
И мистики.
Где не вертят столы,
Не вопрошают души,
Где день от ночи –
Мрачней и глуше.
Где все мы – души.
Душит...
Душит...
Душит... та же земля,
Та же осень
Сосен,
Листьев,
Мыслей.

ПРОТАГОНИСТ

Так сыро и промозгло
В этом акте,
Слезятся декорации,
Но длится действие,
Где я протагонист.
Моя маска тревожит
Впадинами глазниц,

Опавшим ртом,
Белизной.
Заворожены люди
Моей игрой,
Голосом,
Жестами,
Искренностью
Протагониста.
Элины! Стенайте,
Проливайте наземь вино,
Ужасайтесь:
Я играю себя самого,
Одинокую Ио
Под слепящим жалом судьбы,
Весь театр
Вашей унылой жизни.
Не бойтесь сочувствовать
Добру —
Это только театр,
Катарсис;
Закончится действие —
И вы вернетесь
В сегодня,
К обыденному реквизиту
Повседневности.

И только тогда,
Оставшись один,
Я признаюсь себе
В слабости,
В том,
Что протагонисту
Не нужна маска.
Я нарушил правила:
Это было лицо.



ПАМЯТИ МОЕГО СЕГОДНЯ

По утрам,
Когда сон вытряхивает меня
Из тепла и мира,
Я увожу их на кладбище
В углу за баракком.
Пытаясь выдернуть слабую руку,
Цепляясь за камни,
Травинки,
Сугробы
И выступающие из земли
Кости,
Они вопрошают меня молча
Пустыми глазами тюремных узников,
Оконченные,
Но не отжитые.

По утрам,
Когда другие выстраиваются
В очередь
К писсуару и умывальнику,
Я увожу за руку,
Воровато оглядываясь,
На кладбище в углу за баракком
Отошедшие дни
Из трясины числа
Две тысячи пятьсот семьдесят пять,
По дню в утро.

В СНЕГУ

Когда в снегу и день и сон,
Приходит час.
Когда метель теснит тепло,
Приходит миг.
Тогда твой враг – суровый лес,
И свет,
И мир.
Когда в углу таится тень,
И нет свечи.
Когда иссякли все слова,

И смысл иссяк.
Тогда во льду молчит трава,
И кровь,
И стон.

Когда зовет туманный страх
В густую ночь.
Когда в ушах звенит тоска
В октавах строф.
Тогда в снегу упрятан мир,
И Бог,
И ты.

15.11.76

ПЛАЧ ИОВА

Войти в свой дом,
Где двери приоткрыты,
Где ждут
И будут ждать.
К тюльпану на столе,
Затертым старым плитам,
Качелям во дворе.
В дом на своей земле,
Где жить, любить, страдать,
Быть мудрым у огня,
Расслабленным в застолье,
Любимым по ночам
И ласковым с детьми.
...Дом на моей земле,
Моей послушный воле,
К молчащим кирпичам
Меня скорей возьми;
Из северной войны
Возьми к цветам и миру,
К обычаям страны,
К Закону праотцов.
Возьми меня, мой дом,
Я твой хозяин,
Иов.

18.11.76

ПСАЛОМ ГОРЕЧИ

Под теми же звездами
Те же снега.
Глаза вечности –
Татуировка звезд.
Вечность, воспаленная
Отчаяньем,
Кричит уныло
Обертнами Иерихонской трубы.
Квадратной плешью в лесу
Пустыня,
Выжженная абсурдом –
Площадка
Для игры в пытку.
В зеркалах собственных глаз
Я осматриваю офорты
Руки твоей, Ягве,
Разуверившийся эстет
Выгребной ямы.

29.01.77

МОНОЛОГ ДОН-КИХОТА

Дульсинея Тобосская!
Я, ваш избранник и паж,
Сраженный
Крылом мельницы,
Вкушаю мрак тлена.

В камне придорожном,
Траве некошеной
Письмена святые
Откройте
Моей любви.
В истине,
Явившейся мне
Однажды,
Не было зла.

Посмотрите на небо:
Мириады сверкающих звезд –
Людские души,
Рассеянные во мраке зла.
Видите:
Закатилась одна,
Кто-то умер в Испании,
Растворился
В пересеченьях орбит,
В крыльях небесных мельниц...
Любила ли она,
Сраженная?
Торжествуют
Вселенские жернова!

Души, растворенные
В вечном блуждании
Дождевых капель
И полуденной пыли,
Мертвые души,
Они ранили меня жалом
Утробного смеха
Сытых тел,
Спускали собак,
Сожгли мои книги,
Вооружили цирюльничьим тазом.

Дульсинея,
Вы, любовью моей
Причисленная к Вечности,
Мололи на мельнице хлеб
И смеялись, смеялись...

Не ищите мою звезду,
Слишком поздно.
Помолитесь Деве Марии
За упокой.
Рыцарь печальный умер
В нищете и одиночестве,
Как и подобает.

В ПРОЗРЕНИИ ЯНВАРЯ

До разделения вод и тверди,
Некогда,
Я встречаю январь.
Деревья и дни
Вморожены в землю,
В саване снега.
Деревья, дни,
Люди
В прозрении будущего,
В январе
Серпантина колючего
Плачет Снегурочка.
Как милостыня калеке
Звонко постукивают слезинки
Прозрачными зернами льда
И скорби
По надгробию земли,
Беременной жизнями
И серпантином;
Дед Мороз
С урезанной пайкой
Выкармливает
В камере мышь,
Прохуdivшимся мешком
Устилает нары,
Дед Мороз,
В грезах о паре,
Венике
И горячей еде,
В ненависти к зиме.
Все – в серпантине колючем,
Разделяющем твердь и воды:
Деревья,
Дни,
Люди.

14.12.76

ПОТОМ. КОГДА-НИБУДЬ.

Вернется день сумятицею строк,
Таинственностью выписанных знаков.
Я восприму сегодняшний урок,
Тоскующий по прошлому Иаков.

Я подниму из паутины плед,
Протру от пыли снег весенней ночи
Из этих снов, из этих слов и бед,
Из этих зим и частых многоточий,

Где пустотой означены слова,
Где за словами – вязкие длинноты,
Где так болит молчаньем голова
И болен мир раскаяньем Субботы.

И ужаснусь. Упрямству своему
И призраку в себе открытых истин,
Утраченным годам и канувшим во
тьму
Своим надеждам, страхам, верам,
мыслям.

Я оглянусь на этот белый бред,
Заполню словом созерцаний сумрак.
И вспомню все. И ужаснусь вослед.
Потом. Когда-нибудь. Весенним,
теплым утром.

27.03.77

СМЕРТЬ ЭЛЬФА

Когда солнечный луч
Пробился
Сквозь морозный воздух
И оконное стекло,
Маленький эльф
Вышел
Из столба пыли.
Вышел – умереть.



Отравившись нектаром
Последнего цветка осени,
Выросшего
Из праха заключенного номер 1434.

Покойный был дальтоником.

осень 76 г.

ПСАЛОМ СКОРБИ

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу...
Данте. Ад

Лес мой – проросшая плоть человека.
В радуге оттенков
Ядовитые наросты почек на ветвях,
Слепые черви, копошащиеся
В смраде братских могил.

Железо покрывается ржавчиной,
Хлеб – плесенью,
Слова – шелухой...
Мертвая плоть человека
Проросла
Березами и осинами,
Древесиной
моей памяти,
моего страха.

Смешение соков,
Смешение прахов,
Смешение – плаха.
Рубили деревья,
Людей рубили,
А я – свидетель безмолвной тризны.
Глушит гамму
Восьмая нота –
Ежедневный реквием рельса,
Сожаление о живых,
Малиновый звон смерти,

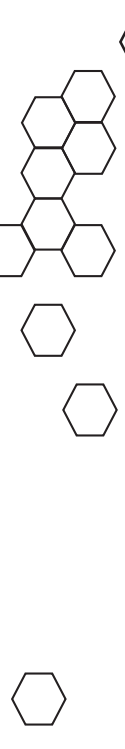
Высокий до отчаяния,
Глубокий, как страх.
Стоны, не обратившиеся в прах.
Череп барака,
Берез позвоночника
(Их сок ядовит, отравлен тленом).
Ягве! Внемли праху под моими ногами,
Я живу на костях мертвых,
 костях голодных,
В плену берцовости
Осин и берез,
В суставах полусгнивших
Остовов стен,
Глухих к смерти.
Накорми мертвых!
Их голод сильнее смерти,
Они думали только о пище,
Голод жив, пока живы кости.

...Трава волос, проросших на трупах,
Щетина травы, сухой и жесткой,
На теле,
Павшем от голода.
Живой лес мертвых...
Живая трава мертвых...
...русский лес!

ГЁЛЬДЕРЛИН

Свет мой без добрых людей:
Летучие мыши,
Свеча и безумие.
В башне,
В облацах,
В одиночестве
Я – Гёльдерлин.
Германия, этот миф,
Выдуманный торгашами,
Есть бред.
Земля, острова полей, день и счастье –
Бред.
Я, Гёльдерлин,





Вынашиваю безумие
И Поэзию.
Книги, не записанные рукой,
Сокрытые в памяти –
Великие книги.
Потомки,
Жалкие бургеры и воители,
Я не оставлю вам слова.
Здравый смысл,
Ты слышишь меня!
Преклони колени и молись.
Я, демиург, постиг истину
В облацах,
В башне.
Выслушай
Полет крылатых мышей,
Всмотритесь в небо:
Звезды плачут угольками
Исторгнутых строф.
Я, Гёльдерлин,
Обезумевший господин твой,
Разговариваю с летучей мышью
И пауками
Чеканными строфами
Вселенской Поэзии,
Незамутненным словом
Кассандры.
Будущее, прочь!
Безумный поэт
Страшится тебя,
Как страшится людей
Все живое.
Башня – дом мой и мир мой.
Здесь рождается слово,
Обращенное к паукам.
Ковчег мой, переполненный
Ужасом бытия и человека,
Плывет в мире.
Я видел это: голубь
Выронил масличную ветвь
И упал
С арбалетной стрелой в крыле.
Голубь сожран,

Летучие мыши заполнили мир
Полночным щебетом помела
И запахом крови.
Поэзия – это молчание
И взгляд из башни,
И предчувствие смерти как бытия.
Мир – бестиарий,
Где поэт прочитает будущее,
Чтоб навсегда замолчать,
Обезумев.

18.07.78



Виктор ЕРОФЕЕВ

ОТВАРНОЙ БОГ

В отличие от Польши, где Бруно Шульц (1892–1942) стал controversивно-культовым писателем еще в середине 1950-х годов, в России его практически не знают. Я смутно помню, как наш покойный писатель и полонист Асар Эппель еще много лет назад с энтузиазмом отзывался о Шульце и в 1993 году издал в Москве книгу его рассказов, но я только кивал ему головой, а книгу так и не прочитал. И вот лишь в 2012 году, собравшись приехать на юбилейный фестиваль Шульца в его родной городок Дрогобыч (нынче в Западной Украине), я наконец погрузился в Шульца и понял, что это – уникальный писатель (а также весьма диковинный художник). У нас есть такой дикий интеллигентский обычай: каждого нестандартного писателя-визионера сравнивать с Кафкой или объявлять его новым Кафкой. Я же считаю, что Бруно Шульц создал свой собственный «замок» философской, метафизической прозы с невероятно конкретной плотоядной поэтикой и во многом может считаться конкурентом и оппонентом Кафки.

Шульц последовательно прожил в Дрогобыче при четырех режимах в четырех государствах. Это напоминает беговую дорожку в фитнес-центре: бег на месте с разной скоростью. Он родился в Австро-Венгерской империи. Начал писать и прославился в межвоенной Польше. В 1939 году 11 сентября оказался в Третьем Рейхе, через тринадцать дней попал в Советский Союз, стал советским человеком до такой степени, что написал портрет Сталина (не сохранился) и отослал свой рассказ в Москву (не напечатали), а 1 июля 1941 года вновь очутился в Третьем Рейхе, откуда уже не выбрался и трагически кончил жизнь «полезным евреем».

Каким образом Бруно Шульц стал «полезным евреем»? Нам редко приходит на ум, что гестаповцами не рождались или что их не выращивали в особых условиях гнуснейшей лаборатории; напротив, какой-нибудь мирный венский столяр мог превратиться в гестаповца. Именно так случилось с Феликсом Ландау. Он стал признанным убийцей множества мирных жителей,

в основном евреев, в приятном на глаз галицийском Дрогобыче, но останется в истории по другому поводу. Это – благодетель Бруно Шульца. Он увидел, что этот еврей хорошо рисует и предложил ему, среди прочего, разукрасить комнату своего сына. Бруно Шульц медленно исполнял заказы гестаповца – ему хотелось жить. Насмотревшись на художественные работы Бруно Шульца, Ландау объявил его «полезным евреем»: он мог пригодиться Третьему Рейху. Однако другой гестаповец, Карл Гюнтер, мирная профессия которого осталась мне неизвестной, приревновал Шульца к Ландау. Возможно, он тоже хотел иметь своего «полезного еврея»...

Стоя в сентябре 2012 года на ступеньках университета Дрогобыча после того, как я прочитал международной академической публике свой доклад о Бруно Шульце, я только собрался закурить, как ко мне подошел старый бородатый человек, Эрвин Шенкельбах, потомственный фотограф Дрогобыча, который теперь живет в Израиле. Он поздравил с докладом и сказал, что хорошо помнит Бруно Шульца. Шульц преподавал ему в гимназии рисование и столярное дело. Это был, сказал Шенкельбах, чрезвычайно застенчивый человек, который ходил по улицам, пряча лицо и скрываясь за деревьями. Он добавил, что хорошо знал мальчиком и Карла Гюнтера. Он назвал его симпатичным немцем, который однажды подарил ему пачку шоколада. В синей обертке, припомнил он. Гестаповец погладил его по головке и сказал его отцу, Бертольду Шенкельбаху, известному городскому фотографу, что он – хороший мальчик.

– Отчего он убил Бруно Шульца? – спросил я.

– Наверное, ему захотелось пострелять, – с мудрым спокойствием ответил фотограф. – Возможно, он мало стрелял в тот день, и ему захотелось.

Еврейский фотограф вспомнил, как впервые увидел в Дрогобыче немецкую армию: немцы приехали в город, как на прогулку, на велосипедах. «На мотоциклах?» – переспросил я. «На велосипедах», – подтвердил фотограф. Однако дальше фотограф стал путаться в своих воспоминаниях. Так, он вообще отрицал очевидное существование гетто в Дрогобыче, гетто, куда переселился и Шульц, и в конце концов вынужден был признать, что у него в 1942 году на долгие годы отшибло память. Причину потери памяти он также забыл.

На самом же деле, это была остросюжетная трагедия. Бруно Шульц, через своих друзей в Варшаве, обзавелся фальшивыми документами и решил бежать из Дрогобыча 19 ноября 1942 года. В этот день гестапо устроило зверскую зачистку города: были убиты 230 евреев. Возвращаясь с работы домой в гетто за хлебным пайком, Шульц был убит на улице выстрелом в спину.

Кого же застрелил Карл Гюнтер?

В Москве я не мог достать книгу Шульца, которую перевел Асар Эппель. Я прочитал Шульца в его переводе в Интернете. Но зато в Париже я зашел в знаменитый магазин польской книги на бульваре Сен-Жермен, и там было много Шульца, писателя и художника, по-польски и по-французски. Шульц жив!

Шульца в Москве не знают, потому что он, по моему мнению, не соответствует главной линии русской литературы. В отличие от нее, он не хочет изменить мир. Но Шульц знает, что мир изменить нельзя, потому что мир дошел до своего предела, и не

политические режимы, а сам человек довел его до этого состояния. Шульц – самодостаточная личность. О нем не надо плакать. Ему бы это не понравилось.

О Бруно Шульце можно позволить себе говорить правду: он сам не стеснялся говорить и писать правду и при этом был действительно замечательным писателем. Чем лучше писатель, тем меньше он несет ответственности за свой текст. Шульц верно заметил в своих рассказах, что его тексты похожи на имитацию. Как будто они уже существовали до него. Гоголь писал в письме к Жуковскому, что его ненаписанные произведения – это его небесные гости. Он тут ни при чем. Когда я прочитал слова Шульца о тексте как имитации, я понял, что Шульц разгадал природу творчества. Он сделал это без истерики и без пафоса. Спокойно и достойно. Даже можно сказать: походя. Я почувствовал к нему уважение. Я увидел в нем умного человека. Он стал для меня если не другом, то интересным знакомым. Я понял, почему он написал мало (всего две книги рассказов: «Коричные лавки» и «Санатория под клепсидрой») – он ждал, пока его текст станет новой имитацией. Он не хотел писать от себя.

Я не люблю литературный фетишизм, поклонение кумирам, круглые даты, юбилеи, торжественные собрания. Мне страшно смотреть на памятники великим людям – это жалкий удел знаменитых мертвецов, которым уже ничего не нужно. Чем больше мы думаем о великих мертвецах, тем больше мы оскорбляем их своей общей бездарностью. Приобщаясь к ним, мы их не возвеличиваем, а опускаем. Обнимая их, мы их отталкиваем.

Но у нас нет другого выхода. Иначе мы не умеем. Памятники нужны, в конце концов, не мертвым, а нам самим, чтобы устыдиться и найти какие-то жизненные ориентиры. Не будем плакать по великим людям – давайте лучше поплачем о себе.

Бруно Шульц был счастливым человеком: он был одарен большим талантом. Большой талант ничего не боится и поэтому у него много шансов плохо кончить. Но счастье писать так, как никто до тебя не писал, ни с чем не сравнимо. В своих двух маленьких книгах Шульц создал свою собственную теологию – дальше можно было бы уже не писать.

Родильным местом этой теологии стал провинциальный город, который, с одной стороны, был дырой, захолустьем, но с другой – бесспорно принадлежал странам с высокой культурой. Вот почему Шульца нельзя назвать самоучкой – у него были все возможности общаться с культурой (в молодости он учился во Львове и Вене). Вместе с тем, в провинции ночью лучше видны звезды. В больших городах они кажутся слишком мелкими, незначительными. В больших городах мы слишком много времени тратим на социальную жизнь – эту нескончаемую жвачку. Шульц нашел твердую основу своей теологии – *провинциальную тоску*, которую он, в письме к Витольду Гомбровичу, пронизательно назвал спасительной. Провинциальная тоска – это хорошая подстилка под творчество, если то, что ты пишешь, действительно оказывается творчеством. В случае Шульца это было так. К провинциальной тоске он добавил еврейскую местечковость и польский язык как средство письма. Все это было в высшей степени рискованно, но сложилось как нельзя лучше.

Шульц в последнее время становится более понятным художником, потому что мы переживаем очередную полосу разочарования в нашей социальной жизни.

Это касается как Европы, так и России. На этой волне разочарования возникает интерес к писателям, которые иронизировали над социальностью. У нас в России таким писателем был Леонид Добычин, который родился на два года позже Шульца и описал Россию эпохи НЭПа.

Добычин и Шульц – двоюродные братья по провинциальной тоске. Добычин также поставил тоску в центр мира и создал три тонкие книжки, два сборника рассказов и маленький роман, «Город Эн», тексты которых смеялись над социальностью. Оба писателя оказались жертвами тоталитарных режимов. Алексей Толстой приехал специально из Москвы в Ленинград, чтобы раскритиковать Добычина за формализм – Добычин после писательского собрания выбросился в Неву. Однако Добычин, в отличие от Шульца, не создал своей теологии, он лишь боролся с уже созданной теологией большевизма и был подавлен этой борьбой. Шульцу в этом смысле повезло больше. В его творчестве родилась теология, которую я бы назвал *теологией агонии* и которая шла параллельно европейской философии, увенчанной словами Ницше «Бог умер».

Смысл творчества Шульца можно также собрать в двух словах: «Бог умер». Но это будет не повторение Ницше, а свое собственное открытие в слове.

В этом смысле Шульц оказывается более радикальным и современным писателем, чем Кафка, хотя талант Кафки обладает более совершенной магией слов. Кафка строит свою мифологию в «Замке» на рассказе о тайном, непостижимом и злом для человека Боге. Возможно, что вместо этого Бога есть только пустота, однако констатации смерти Бога у Кафки не существует. Не существует и констатации смерти закона.

У Шульца смерть Бога происходит многократно и описана с большим количеством деталей. В самом деле, Бог в Европе умирал мучительно и неоднократно, начиная с Ренессанса. Эта агония тянулась в век Просвещения и далее через весь XIX век. Мы наблюдаем агонию Бога и в романах Достоевского.

Следуя патриархальной еврейской традиции, Шульц вложил в Бога семейные черты своего отца – главного героя своих книг. Полный сыновьего почтения и трепета перед силой отца, Шульц последовательно превращает своего отца в Бога.

Первоначально в рассказах Шульца отец показан во всей силе. Он – творец очага, торговец, могучий самец, фантазер. Он так уверенно рассказывает собравшимся вокруг него девушкам (он – явный сладострастник) о тайне материи и творения, что нельзя ошибиться – он и есть сам Творец, который делится впечатлениями о том, что им было сделано.

Однако затем в рассказах происходят удивительные вещи. Сексуальная, молодая и бесстыжая горничная Аделя заставляет Бога поцеловать ее туфлю. Это символический акт. Мы видим его также на рисунках самого Шульца. Там он с жестоким комплексом фетишизма и мазохизма целует туфли и пресмыкается перед голой женщиной. Секс побеждает в Европе религиозное чувство. Сексуальное желание оказывается сильнее религиозного спасения. Бог опорочен. Один, второй, третий раз. Это иллюстрация исторического развития Европы. Сексуальные победы мужчины в сущности оказываются торжеством женского тела. Отрываясь от религиозных



подвигов, мужчина свою жизненную страсть отдает не Богу, а женскому телу. Рассказывая о творении, Отец-Бог пытается одновременно залезть во все дыры своим молодым слушательницам, а, видя Аделю, моющую полы, в конце концов испытывает оргазм.

Любопытно, что преклонение перед красивыми девушками, «адорация» их тел имеет у Шульца не только мистическое, но и реальное основание. Рисунки Шульца полны красивых девушек еще и потому, что Дрогобыч – даже сейчас – это кладезь красавиц. «И почём эта ваша лесная земляника?» – низко наклоняется нынешняя красавица-дрогобычанка к уличному, сидящему на тротуаре, продавцу, сладко воркуя по-украински, сложив ладони между колен. Блондинки и брюнетки, высокие, пышные, худенькие, глазастые, они прогуливаются по улицам, сидят, закинув ногу на ногу, в кафе, едят мороженое, шуряются на солнце, облизывают пальцы, как истинные объекты сексуальных грез – удивительный городок! Вот куда надо бежать от тоски!

Однако да здравствует тоска! Только благодаря ей раскрываются тайны мироздания. Лавка, дом, еда, ноги служанки – вот действующие лица рассказов Шульца. Но не только белые груди женщины побеждают Бога. И Шульца, вместе с Богом. Побеждает Бога и сама созданная им красота. Выведенная в первом рассказе первой книги «Коричные лавки» в виде спелых вишен и абрикосов, она все больше отчуждается от своего создателя и существует уже независимо, а порой и как вызов самому Богу. Отец-Бог коллекционирует ее в виде диковинных птиц, которых заказывает из Германии, а сам мельчает на глазах. С каждым рассказом из него выходит жизнь. Но вдруг начинается выздоровление. А вместе с ним – нефтяная лихорадка! Жизнь в городе бьет нефтяной струей – нефть нашли неподалеку от Дрогобыча! Шулец описывает бурный подъем города в рассказе «Улица крокодилов». Американцы прут, Европа мчится – поживиться! Но зря радовались – хилое месторождение. Город обиженно засыпает. И вновь, за экономической пустотой, в просвете – метафизическая болезнь.

Эта болезнь Бога порождает в рассказах Шульца мистические видения. Мы оказываемся в параллельных мирах. «Санатория под клепсидрой» (это *непростое* название рассказа – оно же название второго сборника – адресует нас не к Кафке, а скорее к Прусту: если клепсида – это водяные часы, то, очевидно, они символизируют «утраченное время», а сам рассказ его «поиски») – это уже мир разрушенного Бога, видения агонии. Бог утрачивает свое значение, дважды в двух книгах превращаясь в насекомое. Сначала это репетиция – нечто похожее на кафкианскую метаморфозу: Отец-Бог превращается в таракана. Когда же он гибнет, о его смерти мало скорбит вдова, мать повествователя, который имеет автобиографическую матрицу Шульца (эта вялотекущая скорбь вдовы по «таракану» – да и стоит ли вообще скорбеть по «таракану»? – метафизическое равнодушие, свойственное постнищеанской Европе). Она быстро возвращается к нормальной жизни.

Но второй раз во второй книге глумление над Богом достигает постмодернистских высот. Бог превращается в нечто, похожее на краба. Герой подробно рассматривает его гениталии. Наконец, мать просто сварила его и положила на обеденный стол. Этот свареный Бог – кульминация европейского отношения к Богу, когда непо-

средственное религиозное чувство превращается в философское блюдо. Но и это еще не конец – вареный краб, теряя ноги, уползает в неизвестном направлении. Это можно считать финалом европейской религиозной драмы.

Что может быть дальше? О чем еще не написал Шульц? Он все сделал.

А дальше за него сделала История. Она убедительно доказала, что Шульц оказался прав. Если Бог умер, рождаются богоподобные идеологии, которые готовы заполнить пустоту. Две такие идеологии последовательно врезаются уже не в творчество, а в жизнь самого Шульца. Сначала в жизнь Шульца как сюрреалистического видение приходит советская власть и приглашает (напомню) Шульца нарисовать портрет Сталина. Шульц, которого воспели лучшие писатели и поэты довоенной Польши, оказывается простым советским человеком. Но и это не конец исторического садизма. На родину Шульца приходят люди, которые объявляют художника Шульца «полезным евреем» и гонят в гетто. Шульц, который неосторожно писал в рассказе, цитируя своего Отца-Бога, что убийство не является грехом, а помогает материи развиваться, оказывается отнюдь не виртуальной, а реальной жертвой (свастика, в сущности, – нож мясорубки и знак вечного движения материи) своих слов.

Писатель-мученик – это почти святой. Но если Шульц как писатель жив (и еще как жив!), то может ли взорвавшийся тихоня, мазохист, фетишист, вуйаерист, лизатель каблуков и женских задниц, кое-как законспирированный порнограф, который неглубоко закопал, спешно присыпав землей, свою страсть к извращению, и уж точно осатаневший мастурбатор, чумовой учитель провинциального лица, на своем примере обучающий юношей обращаться с рубанком, наконец, просто-напросто провокатор общественного мнения, быть священной коровой?

На этот вопрос каждый даст свой ответ.

*Эссе было написано специально
для V Международного фестиваля Бруно Шульца
в Дрогобыче (сентябрь 2012) и прочитано автором на этом фестивале.*



Сергей СОЛОВЬЕВ

ЯЗЫК.RU

1.

Первое импульсивное движение руки в сторону книжных полок – к Пушкину. И первая неожиданность: во всем объеме сказанного им о вещах первостепенных – о языке сказано с мизинец. Кем? Поэтом, который первым, как Петр – Питер, – поднял литературу из мест безвидных – до и выше александрийского столпа.

Быть может, были более важные темы, задачи, поводы? Более важные, чем язык? Есть ли вообще что-либо более важное, и в особенности – говоря о России? Она и есть язык, и больше ничего.

Идем дальше. Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский... чтобы не утомлять остановками – весь девятнадцатый век молчит о языке. Чистое поле с воткнутым в него школьным тургеневским пугалом «великого и могучего».

Далее – Блок – фигура перехода из одной эпохи в другую, поэт, который и сам чувствовал эту миссию и за которым она была признана современниками. Том статей о прошлом, настоящем и будущем России, ее культуры. Взгляд провидца, коромысло эпох на плече. Ни слова о языке.

Розанов, этот гениальный филолог, по слову того, к которому мы уже почти приблизились в этой речи, Розанов, всю жизнь обшаривавший мягкие стены культуры в поисках орешка, русского акрополя, вот уж, казалось бы, кто должен был не только сказать, но без усталости говорить, и только о нем, о языке... Ни слова.

Можете сами продолжить это обескураживающее путешествие к вершинам русской культуры. Разночтения, думаю, у нас будут невелики. В ответе на вопрос о языке у нас во всю историю России – один человек. Был и есть. Есть настолько, что чувство пути – от первого вдоха русского языка до осязаемого будущего – наполнено всклянь. О чем бы ни говорил он, этот Пушкин разлома времени и страны, всегда и прежде всего говорил о языке.

Имя этого человека, стоящего, как Слово о полку Игореве, одиноким колом на едва ли не пустыре речи

о языке русском, – Мандельштам. Такое же русское, как другое имя – человека, который собрал рассеянный народ слов в державу словаря, а значит, и в нашем случае в особенности, дал Дом, – Даль.

Вот кто – Даль – должен быть в первой строке русских святых, рядом с кн. Владимиром, Сергием Радонежским, Александром Невским. Вернее, – прежде них.

Масштаб Пушкина его современникам был ясен. А современники Мандельштама куда глядели? И это при том, что его, Мандельштама, современникам – как творческой обетованной земле – и Пушкин бы позавидовал.

Что ж его так проморгали? Может, время было как роженица, с разинутым ртом и заплющенными очами? Нет, и свидетельств тому несть числа. Но в числе их нет ясного взгляда в сторону Мандельштама.

И есть взгляд Мандельштама – по ясно-видению и широте охвата едва ли не единственный, в котором отразился Дом – и языка, и времени, и ход его фигур. «Нет, никогда ничей я не был современник», – пишет он, создав живую карту слова и культуры – последнего Дома, в котором мы всё еще живем.

Мандельштама нужно вводить в школьную программу – в одном ряду с Пушкиным. Сказанное Мандельштамом о культуре и языке должно занять свое место, и место это – в изголовье русского народа. Во всяком случае, до тех пор, пока он, народ, не утратил язык и пока не сказано на нем лучшего слова.

2.

По поводу метаязыка. Хайдеггер, которого вряд ли можно заподозрить в недостаточности филологического образования, сказал: «Наука, по определению, мыслить не может». И это не заливчатски-полемиическая фраза, а указание на суть подхода: наука с ее третьей ногой метаязыка *мыслить* не может, потому что дух мышления дышит, где хочет, а не там, где ему указано эпистемологическими границами.

Тем более когда речь идет о мышлении о языке, то есть о мышлении языком – тебя. Потому что, не войдя в энергетическую мёбиусность этого взаимодействия с языком, мышление о нем останется плещущей на береговом песке рыбой.

Мало владеть языком. Если язык не владеет тобой, лучшее, на что можно рассчитывать, – произвол. Об этом знали гностики, описывая космогонию начала мира.

Филология – это прежде всего *любовь* к слову. Любовь, а не знание. Точнее, потому и знание, что в основе его любовь. И не умозрительная, а охваченная эросом, термотактильная, – так змея видит не глазом, а брюхом, кожей. И побеждает не Аполлон, а Марсий – кожей, содранной с него, поющей.

3.

Бык-бок-бог... – это все хорошо для филологических аудиторий. И для биографии литературы. Но, нисколько не умаляя при этом Хлебникова, Введенский, например, или Пастернак – «прорыли» в языке пути не менее глубокие. Есть пути подземные, есть воздушные.

4.

Сводить язык к коммуникативности – то же самое, что сводить стихию воздуха к звукопроницаемости.

5.

Всё бы хорошо – и Федоров на знамени с воскрешением мертвых, и Рерих с его новой расой огневеков, и Вернадский с его мыслящими минералами, всё бы хорошо у этих радужных светоносцев, кабы не улыбочивая агрессия ко всему, что не есть «путь истины» в их понимании, кабы не эта снисходительная поза всеведенья с поднятым к небу пальцем, будто обмокнутым в Бога, не эта безжизненно пафосная речь, дулая, как цыганская лошадь на уездном базаре, не этот галантерейный туман, в котором сколько ни води руками – ни иглы, ни нити.

«Блаженны нищие духом, – снизойдут к вам они тонкогубой улыбкой с высоко-го камня. – Будьте как дети». И напомнят вам о Фоме.

Что ж происходит с речью, становящейся едва ли не дауном на этом Дао?

И почему мир тончайших энергий, к которому восходят они, просветляясь, превращает их в нечто противоположное этому просветлению: в одиозных, непримиримых к иным проявлениям жизни, глухонемых демонов с рыбьим ртом и затуманенным глазом?

Почему эти крестоносцы разных мастей и вер стучат в наши окна, дуют нам в ухо, жгут наши книги? Почему эти вкрадчивые управдомы, эти небесные Швондеры выписывают нам ордера на квадратные метры истины?

И добро бы речь шла о лжесвидетелях, о мистических попугаях, о графоманах духа. Нет, я спрашиваю о людях, действительно наполненных пространством и временем, – что происходит с ними на пути восхождения, что происходит с их языком, с чувством собеседника – будь то человек или любое из проявлений мира, с которым, по идее, они должны ощущать неразрывную божественную связь?

Такие мысли бродили в уме, пока ноги бродили по Крыму. И вопросы, вильнув, продолжились.

А что происходит с поэтами, точнее, с теми немногими из них, сквозь которых пишет молния? А тело потом остается жить, говорить... Как дерево с висящим на нем Иудой. Но не Господь ли его целовал?

Жизнь и смерть во власти языка, сказал Соломон, и любящие вкусят от плодов его.

6.

«Речь – материал». Общедоступный, из общей ямы. Ангела пользуют как кобылу. Читатель в телеге, дорога дальняя, обещан *город*, он всегда впереди, *завтра*. Читатель движется верстами, считая столбы, вглядываясь вперед. А под колесом что? А дыханье зачем? Чтоб дожить до *завтра*.

Дыханье не прожито, *сегодня* упущено, читатель лежит на следующей строчке, странице, жизни. Уже лежит *там*, не войдя в *здесь*. И упускает жизнь. И этим пользуется литература. На тот же манер.

Китай говорит, что необходимы от 60 до 70 жевательных движений на каждый кус пищи, чтоб почувствовать ее настоящий вкус, чтобы ее *прожить*. И жуют прошлое, и передают дальше, детям, как птицы, изо рта в рот. Литература не приращивается.

Европа глотает будущее. Приращивается нелитература.

Индия задерживает настоящее, как дыхание. И, удерживая, теряет его, входя в транс. Отращивая невербальное измерение.

Физика говорит, что нельзя одновременно измерить координату и импульс частицы; удерживая одно, упускаем другое. Это физика с ее причинно-следственным миром. А Бог, который не Физика, одним словом?

Старые мастера шли за тридевять – рыть пигмент, вынашивать краску – свою, в своей ладони, растить, как дитя, духотворить ее, прежде чем наносить на холст.

Дух не «материал» Бога. Каждое слово должно быть этим «своим дитятей», по образу и подобию, а не взятым из общей ямы и встроенным в вереницу таких же серийных клише. Об этом даже говорить стыдно как о достоинстве.

Но кто так видит? Глаз ребенка, пока не заплыл от езды на телеге. Жизнь так пишет, но это сознанием не удержать, не сойдя с ума, не лишившись чувств.

И тогда: *сказала она, улыбнувшись, и взглянула в окно. Или: у него были курчавые смоляные волосы, высокий лоб... и так далее. С привычкой, например, покусывать в задумчивости карандаш. Хотя: легкие беспечные облака плыли над его головой. И: он вошел в нее и она обхватила его руками и прижала к себе. А: все счастливые семьи счастливы одинаково. Да, но довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы...* Чехов, Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов и так далее.

Даже у Гоголя пересаживаешь на телеге иной раз страницу-другую, пока не подарит жизнью, перейдя дорогу, какой-нибудь *графинчик в фуфачке пыли*. То же и у Набокова.

И тогда непростой вопрос: почему? Почему шея литературы оседлана нетопырем, как Хома Брут панночкой? Почему она жизнь, непрерывную неповторимость, сводит к семи цветам, шести чувствам, пяти пальцам, четырем сюжетам, трем временам, двум вопросам и одному ответу? Почему жрет лицо это рыло самозваного счастья?

Почему-почему... Потому что у попа была собака. Потому что читатель не живет в настоящем времени. Потому что настоящее – скорость света, а не его отстой по обе стороны, где и живет читатель: или в прошлом, или в будущем. Или в возвратном залоге, или в развратном. А настоящее – для ангелов. Кто ж им пишет?

7.

Бродский на вопрос: на какого читателя Вы рассчитываете, – ответил: на гипотетического. Едва ли. У настоящего писателя есть лишь один читатель и собеседник – это текст, который он пишет. И мандельштамовское «читателя! советчика! врача!» – эмоциональный срыв – человека в Поэте.

8.

Хлебников говорил о времени женихающихся слов – и мы сразу вспоминаем Серебряный век, – а далее говорил о времени жатвы, о времени семьи и детей языка...

Близорукому зрению предстает языковой апокалипсис; взгляд бредет сквозь речевой сухостой, сквозь эти струпья все еще теплой жизни... Да, – все это так. Так и не так. Потому что под золой – языковая магма. И она не ждет ни светлого гения, ни темного желоба. Она неисповедима.

Мандельштам наблюдал не меньшую языковую разруху. И, тем не менее, сказал, что придет день, когда Западная Европа и Америка потеряют дар собственной речи, заговорив по-русски.

9.

Мы все время ищем прямые – может быть, слишком прямые – взаимосвязи. Язык живет окольными путями. На одном из них – Виктор Соснора. С хлебниковским ответом.

Несколько недель назад я был в Питере и зашел к нему. Живет на отшибе, в однокомнатной клетушке, где собака средней величины не развернется, совсем оглохший, с голосовым аппаратом в горле...

Он всячески уходил от темы «язык». Поздно. Ноги, подобранные под себя на стершейся кушетке, и листопад в глазах. Маленькие ладони мальчика-вундеркинда. Дрожание, пытающиеся вдеть эту нитку в иголку. Нитку тропы, как можно дальше уводящую его в прошлое от того, где он помнит себя как «я», «люди», «страна», «литература».

Не «туда, туда...» – как тянулась рука умирающего Пушкина – к книжным полкам. А – проскальзывая сквозь детство – туда, вспять, к тому, что за ним, к прапрапра...

«Но это Вам, наверно, не нужно, – говорит он, косясь на диктофон. – Вы ведь спрашиваете о языке...»

Седые до плеч волосы. Похож – вдруг ловишь себя на этом – на Любшина, но будто прошедшего сквозь семь колец смерти.

А теперь лицо его летит вспять, и где-то совсем рядом стоит душа. И кладет в ладью гребень, зеркальце, детство...

Не нам, о не языке.

10.

Каков язык человека – такова его и судьба. Это же относится и к народу. К русскому – в особенности.

В начале нашей азбуки – аз, затем буки. То есть: я – буквы. И лишь затем, и потому – ведать слово. И не то слово, до которого еще плыть и плыть – до середины реки азбуки, а глагол, то есть речь, течь, говорение, то есть слово живое, изустное, открывающее уста.

У индусов в «Алмазной сутре» – формула человека: «я, человек, существо, небожитель». У нас: «Я – буквы – ведаю – говорю».

Я – часть азбуки мира. Не буква его, а буквы. Какая часть, сколько? Нет ответа. Вопрос есть, чувство есть – части целого, потому говорю.

Вначале не Бог был, говорит Книга, а Боги. Един – во множественном числе.

И у нас во множественном, но – человек, часть речи. Часть, говорит современная физика, больше целого. Счастье, говорит язык, – быть с частью. Истина, говорит язык, это естина, то есть всё, что есть. А что есть? Я, буквы. Я-зык, голос букв то есть. Отсюда отзывчивость, о которой Достоевский писал, – от части целого, от чувства языка.

Но, может, язык нас водит за нос? Мы вправе говорить то, что мы хотим сказать. Но и языку отказывать в этом праве – значит быть Иваном, не помнящим родства.

«Развяжи мне язык, муза огненных азбучищ. Развяжи мне язык, как осенние вязы развязываешь», – пишет Вознесенский.

Язык, и русский в особенности, это чувство мира. Седьмое. Именно чувство – по синтаксису, по иррациональной, в отличие от западных языков, стихии, по кочевой, не оседлой, природе речи.

Речь, – речет язык, – см. река. Та же природа синтаксиса; ни истока не видно, ни устья, да и не скажешь – куда течет; петли, старицы, рукава; а русло (русь-слово) – где? Нет его. Течь, речь, река. Те же отблески на воде, те же инверсии встречных потоков.

И не только в синтаксисе, но и в семантике, исторической: из варяг в греки течет, а язык – встречным течением – из греков в варяги.

А где течет она? В человеке. То есть человек и есть ее берега. Чтоб берёг ее, оберег. Какова речь, таковы берега.

Добро есть жизнь. Так говорит русская азбука мира. И добро исходит из речи. Эстетика первичней этики. «Поэзия выше нравственности, – пишет Пушкин на полях рукописи Вяземского. И добавляет в раздумье: – По крайней мере, совсем иное дело».

Жизнь – это живот: вот космогония русского мироздания. И в ней, в этой расширяющейся вселенной, воплощается бог – единый из двойственного, и вынашивается – под сердцем. Жизнь, живот.

А кто дал эту азбуку? Щекотливый вопрос. Два болгарина, миссионеры. Откуда шли? От Папы Римского. С какой целью? Обращать славян в веру христианскую. А поскольку чем дальше на восток, тем больше языковых княжеств, нужен был единый язык, Христа ради.

То есть азбука эта была – наряду с ее светлым даром – еще и своего рода троянским конем с папским воинством.

А на чем крест стоит? На Голгофе, на черепа Адама. А если приподнять русскую азбуку – что под ней? Пол-Климента. Климента, ученика апостола Петра, который дошел до Корсуня и «за успешную проповедь христианства», как говорит летопись, был привязан живьем к цепи и спущен на дно морское.

Так вот Кирилл, дав славянам кириллицу, идет в Корсунь (Херсонес), находит и поднимает со дна оплетенный водорослями скелет Климента и делит этот скелет на две половины. Одну из них он отправляет в Рим Папе – в обмен на эксклюзивное право продолжать проповедь христианства в славянских землях, другая половина уходит в Киев и затем канонизируется кн. Владимиром.



Под русской азбукой лежит иудей, расчлененный меж Западом и Востоком, и длина его тела – от Киева до Рима.

11.

Мандельштам говорит об эллинской природе русской речи. О том, что Русь восприемница греческой и буквы и духа – поверх сухой ветви Византии.

Соснора говорит, что мы в один день заимствуем у Византии и религию, и алфавит. Религию упадка Восточной империи (изоляция, сектантство, нетерпимость) и алфавит, с которым погружаемся в безмолвие еще на семьсот лет.

А что говорит язык?

В начале азбуки стоит русский Адам, буквенный, почти голем. В начале литературы русской стоит Слово. О полку. Одно стоит, голое, посреди безмолвия во все края.

И нет в этом Слове ни слова «Бог», ни сцен эроса. Плач, вой, бой, гимн. Изошренная метрика. Русский язык в красках крови, как пишет о нем Соснора. Мировой эпос на четырех страницах.

Я видел этот язык. Реставрируя фрески Софийского собора в Киеве. Вводя в стену ветеринарными шприцами ведра дихлорэтана, укрепляя живопись, прокалывая тела Севастийских мучеников. Он проступал на стене, этот язык мирян XI–XII века, – граффити, рядом с которыми язык персонажей Данте бледнел.

Я читал эти ножевые царапины речи, затуманенные парами дихлорэтана, и летучая мышь, ошалев от этих паров, выползала из щели меж плинфами, из живота мученика, волоча за собой пыльный пиджачок крыльев, и дышала в лицо, хекая, как собака. «О-хо-хо, душа моя... чем се сотвори же... ничтоже...» – проступало под ней.

Запад считает, загибая пальцы от большого к мизинцу. Мы – от мизинца. Меньший, слабый, последний – он первый и главный. Об этом и сказка. И сказка, и быт.

В начале русской литературы – Слово. И автор его безымянен. Да и Слово блуждает во времени, как огонь в тумане. То ли бог, то ли подлог.

12.

Сказанное Мандельштамом о языке – читают и еще прочтут. Я приведу Соснору, непрочитанного:

«В России всегда ненавидели поэтику, а точнее – артистизм. Кн. Ольга (9 в.) зарыла живьем в землю, в канаву – волхвов. Иоанн Грозный запер у себя на дворе лучших скоморохов страны и натравил на них 300 диких медведей – съели, с косточкой. Петр Первый писал по-голландски, а русские книги и иконы со всей Империи везли возами в Санкт-Петербург и на хворосте – жгли. Мы гордимся этой самобытностью, – не стоит. Во всех странах при каждой «новой идеологии времени» – жгли, жгут и будут, это норма. Но есть и отличия: в книгохранилищах СССР до сих пор лежат 2 миллиона рукописей и книг, никогда никем не читанных и не разобранных. Их никогда и не прочитают, если у нас сейчас 3 специалиста по древнерусскому языку, академики Д. Л., В. Д. и А. П. – три персонажа на 300 млн чел. населения. И еще: мы твердо убеждены, что за 1 тыс. лет Рос. империи были варяги, потом Грозный и Первый, предтечи. А потом сразу же – Декрет 1917 г., от него и датируется настоящее»

время. История – сверхсекретная тема в русской истории. Тут, мне кажется, мы неоспоримые лидеры цивилизаций. И если Автор «Слова» сверкнул, так и то анонимно. А в 2-х миллионах музейных папок сколько может быть авторов?»

Это сказано в конце прошлого века, когда еще стояла та – троя. Теперь уже и Лотмана нет, и Аверинцева, и Гаспарова.

13.

У нас нет истории, говорит Чаадаев. Есть, говорит Мандельштам, – это наш язык.

А кто совершил переворот 1917 года – большевики ли? Язык. Его избыточность, его лошади, которые понесли. Его протуберанцы – как солнечные бури в год активного Солнца, – его взвинченные вихри, подхватившие литературу, страну, искали выход этой языковой космогонии, этой критической массе языка. Чей дом, кроме утопии, мог дать кров этой стихии? Куда, кроме неба, могла она хлынуть?

Россия Золотого века – ее язык и литература. И стометровка этого века была пройдена ею на световой скорости. Из безвестной стороны она всего за век становится в первый ряд мировых культур. Другие к этому шли тысячелетиями. Не случаен потому этот тектонический сдвиг – языка, а значит – истории.

14.

Язык определяет характер мышления, характер мышления – характер поступков, характер поступков складывается в судьбу. И человека, и нации.

Вроде бы прописи. Но именно эти прописи и изъяты из человека. Кем изъяты? Медийным кесарем. Который и правит миром – и языка, и душ, – исходя именно из этих прописей.

«А кесарь мой – святой косарь», – говорит поэт.

Поэт – парус языка. Парус, который не чувствует под собой, не «держит» язык, а ложится под ветер, – лишь полотно, тряпье. И язык его либо рвет, либо полощет. Но и язык без паруса – воля волн.

15.

«Боги замышляют для людей несчастья, чтобы будущим поколениям было о чем петь». То есть Гомер считал, говорит Борхес, что цель у жизни – эстетическая.

Соснора, Ахмадулина, Вознесенский... Что в этих знаках, думаешь поневоле, и добавляешь к этому ряду покинувшего литературу, постригшегося в жизнь Сашу Соколова. А за ними что? Безъязычье. Худло – как зовут на жаргоне нынешнюю литературу.

Битов в халате, непролазная кухня догорающего дня. Окурки, посуда, книги вперемеж. В окне, на той стороне улицы, вывеска: «Брюки».

Он движется мыслью вслух, тактильно ощупывая каждое слово – здесь, сейчас. Тем этот неспешный натуралист мысли и интересен: открытым небом, вегетативной природой речи.

Самое несуществующее слово, говорит он, заваривая кофе, – слово. Как оно может себя назвать?



Виктор МАЛАХОВ

ПРИТЯЖЕНИЙ ТВОРЧЕСКАЯ СУТЬ

ГРОЗА

и никто из них не знал куда уходили другие
после полудня в комнате быстро темнело и
звуки пианино сливались
с ударами тяжёлого маятника в напольных часах
солнечный луч из окна отражался в стеклянной посуде
что-то тихо звенело
и никто из них не знал куда уходили другие

а когда внезапно раздался оглушительный раскат грома
каждый подумал
что вот весна пришла опробовать свой новый орган
гостиную наполнило электричество
и занавески хлопали словно саваны
это был свежий весенний день но прабабушкины часы
вдруг ослепли

возница поправил цилиндр и поднял вожжи
готовясь к бешеной скачке
но никто из нас не знал куда уходили другие
лишь трещина по циферблату бежит нам навстречу
с тех пор

1972

Киев
белые паперти древности
семечки лет

Киев
белой пушистой перстью
ныне одет

вверх
по суровым склонам
лесенки снов

стынуть
под чёрным вороном
косым крестом

Киев
толпы стояли чёрные
и жгли костры

Киев
ноги мои проворные
глаз на отрыв

рыжу
кусая бороду
чёртом

потом

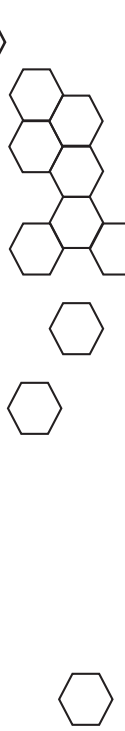
стынуть
под вечным вороном
нагим крестом

1973

Издалека, из далёких мест
вернулся старый солдат.
Рубашка в дырах, нательный крест –
ни денег нет, ни наград.

Издалека, из Святой земли
полгода рыцарь скакал.
Свой щит он бросил в степной пыли,
свой меч о землю сломал.

Издалека, из далёких стран
домой вернулся моряк.
В безводной гавани капитан
пропил свой парус и флаг.



И каждый знал, что, оставив след –
несколько снов или слов,
печаль погаснет, как гаснет свет
вдали, на склонах холмов.

1973

От апостолов хилых
я в пустыню ушёл –
опалённые крылья
и дышать хорошо.

Нет, не крест, не Голгофа,
не чужая вина –
мне другая забота
с этих пор суждена.

Но в кибитках горбатых
у степного костра
люди вспомнят когда-то
Иисуса Христа.

И в забытой часовне
я о них помолюсь,
и апрельскую, тёмную
разделю с ними грусть.

1974

друзей моих прекрасные черты...

Белла Ахмадулина

Уходим в сон, как в явь, по переулку,
по стариковской памяти своей,
по городу, где метят нам прогулку
нечаянные образы друзей,

по городу, где медленное время,
размеренно летящей жизни вслед,
благословит последнее мгновенье –
поверить в наш единственный рассвет.

И если в этом мире обратимо
хоть что-нибудь – замкнуть судьбы кольцо,
разглядить, не вспугнув, черты любимой
и воскресить увядшее лицо.

И если в этом мире неизменна
лишь притяжений творческая суть –
рука в руке, одни в пустой вселенной,
продолжить наш необычайный путь.

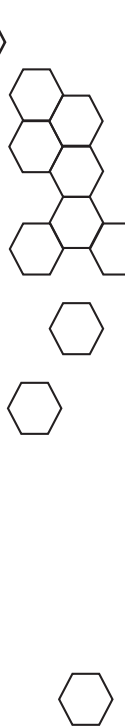
Мы входим в сон, как в медленное пламя,
покорно, словно звёзд ночных полей
созвездия, и расстаются с нами
задумчивые образы друзей.

1978

Просят негры прощенья у белых людей
за всё зло, причинённое им.
Голубым легионам в боях не везло,
и угас императорский Рим.
Опустели трибуны, молчит Колизей
и, чураясь нелепицы низменных дней,
те бассейны, где мрамор однажды расцвел
прихотливой игрою актиний,
затаивши кровавое торжество,
обрастают вонючей тиной.

Просят звери прощенья у бедных людей
за всё зло, причинённое им.
От ослиных рыданий пути развезло,
нет проезда в Иерусалаим.
Молят грек и еврей, чтоб беспутных детей
пощадила грозящая твердь...
...Но притихли трибуны, молчит Колизей
и встала старуха Смерть.

1982



ОТРЫВОК

Великий Ленин шёл вперёд
по голубым колоннам сада.
Научным был его полёт
всепобеждающий, но Ада
тогда ещё не ведал сов.народ.
А партия была как надо.
Но Крупский, Крупский...
Боже мой, его ведь так любили дети,
особенно в Петросовете,
когда стоял он над рекой,
как он, с протянутой рукой,
за всё хорошее в ответе.
И вот явился злой грузин,
гроза полей, твердыня веры,
как шестикрылый осетин
опять на зимние кварталы
ведёт из топей и долин
народ, разболтанный без меры...

1990

Мой Киев, мой костёр. В провалах ноября
кружатся снов твоих ярчайшие страницы,
жестоких снов. И вспыхивают лица,
и корчатся, и угасают зря.

Ты свалка под окном. Развалом бурых стен
стекает в облака пахучая лавина,
летит кулёк в небесные долины
и кружит космы ветер перемен.

Ты боль моя, мой пламенный майдан,
котёл пустот, где бродят искры света.
Мне не уйти от ветреного лета
твоих холмов, от гноя твоих ран.

Мой Киев, мой позор, мой пепел и алмаз!
Кружит кулёк, пустой наполовину.
Я не предаю, клянусь, я не отрину
любовь, что не вчера же родилась.

2008

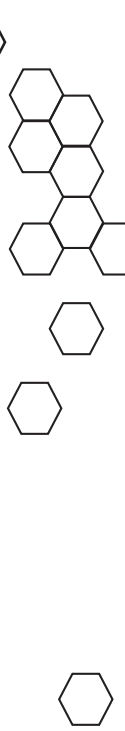
иди туда где не больно
пусть долгоден будет твой путь
вдоль серых откосов
туда в темноту
где погасли костры
руки в золу опустить

слёзы стереть
наступающих дней
долгих рассветов и зорь
и ночей наступающих всюду

где кто-то прошёл
собирая цветы
не услышать знакомый стук сердца
память о том потерять
что носил ты в своей груди

там
над далёкой равниной
сидеть и сидеть в темноте
взор свой легко отпустить
на выгул в привольных полях
среди светоносных пустот
и жизни мерцающих линий

2009





Ірина ШУВАЛОВА

ДОКИ ЗА МЕНЕ ЩЕ НЕ ГОВОРИТЬ САД

задовга ніч за довгим днем іде
іде іде іде і не минає
ці сходи не закінчаться ніде
цих сходів взагалі ніде немає

немає ніг що сходами ідуть
немає пліч і голови на плечах
є мертві мухи в чорному меду
і у саду забуті кимось речі

а ніч іде іде іде і де
її кінець не зна не зна не знати
і рідний хтось на твій язик кладе
гірке й безбарвне зернятко гранату

коли ти мене опускаєш повільно на ліжко
тримаючи тільки поглядом невідривно
я в темряву ковзаю радо як в тіло ніж
як самогубця в воду до мідних риб

як із долоні в долоню тече пісок
як крапля тане просочуючися в ґрунт
як гравець заточується на бігу
доки суддя не зупиняє гру
як чорно-білими сходами котиться дитячий візок

як той хто між дерев заблукавши в сутінках
виходить на узлісся за яким нічого немає
так вислизаю розчиняюся я відсутнішаю
і тільки погляд твій тримає тримає мене тримає

ПІТЕРЕ

1.

пітере що як це місто останнє наше
чаші небес перехнябились повні чаші
скоро уже спорожніють і буде ніц
просто нічого нема з чого обирати
пітере що якщо мали ми забагато
й те забагато втонуло на дні зіниць

пітере що якщо мова порожній камінь
голос у тверді і що якщо твердь між нами
не надається до сталості й опертя
що якщо наше місто таки останнє
не надається до пам'яті й забування
може і сам ти не зовсім уже дитя

що якщо пітере із простирадл вийшовши
ми себе раптом відчуємо зовсім іншими
що якщо іншість залишить на нас свій карб
де нам тоді подітись куди сховатися
пітере листя на нас пролива овації
в того хто глек тримає тремтить рука

пітере що як незмінне таки не зміниться
чи цілувати пальцями теплі стіни ці
чи зачіпати поглядом цей овал
лика напівчужого напівзабутого
непам'ятання стане протиотрутою
пам'ять в папір всотається як слова

2.

пітере літери ці не мої чужі
ліжко чуже і місто чуже як ліжко
дощ нескінченно тягнеться як пробіжка
вздовж неіснуючої межі

тої яку поглинули хміль і глід
тої де теплі нори й пташині гнізда
і посеред дороги лежить запізно
вистиглий і тому непотрібний плід



пітере наша сутність така м'яка
точиться з тіла краплями молока
соком тяжіння зрошує простирадла

ось до кори приростає моя рука
ось приростає інша і так зника
садом стає те що й мало би бути садом

3.

пітере звідки й куди ми хотіли вирости
хто нас тримав за ніжки дбайливо пітере
хто нас в утробі літа медовій виносив
і не наважився в вересень відпустити

діти чиї ми пітере як нам зватися
нині коли імен як між пальців бісеру
тільки б у світлі стоячи залишатися
світлими доки коси нам осінь висріблить

тільки б стояти землю тримати ступнями
вітрові бути плоттю і духом каменю
щоби коли надходить лілова сутнь
сови беззвучно ковзали понад нами

щоби здригався сад від падіння яблук
щоби тремтіли трави росу спізнавши
щоб захлинувшись зливою співу зяблик
пробелькотів нам справжні імення наші

сонце смола й пісок і вино і сіль
плечі ліниві лиману куди звідкіль
вітер ховає відповіді за пазуху
в теплу безмежну днину в руде рядно
де кораблі рядочком лягли на дно
там вже нікого спів наш і біль не вразять

струни луни ще довго тремтять в екстазі
ці голоси згасають але не зразу
груди пернаті ловлять залізний шип
пісня вертає в горло вперед і вглиб
жовтим жмутом осоки в гортань пролазить
кожен поріз пече як тоненький схлип

смажили рибу в багатті пили вино
з чаш проливали в глину останні краплі
довго сиділи стишені і залякли
ніч обдавала потом і полином
ніч мала голову сома і тіло чаплі
і поіменно знала усіх давно

о голуба голодна діра простору
хто нас навчив згоряти так скоро скоро
хто відслонив нам безмір банькатих зізд

хто нам рукою вогню припечатав скроні
і через товщі смерті тремкі й солоні
у порожнечі навчив розрізняти міст

берег стоїть в тумані по кісточки
чорна осока пір'ям намоклим липне
жовтень свій зламаний палець у жовч умочив
і полічив нас одягнених ще по-літньому

визначив кожному довгий окремий шлях
в спільну затяту зиму в порожній простір
діти лічити вчаться по журавлях
що навесні принесуть їм чужу дорослість

ми стоїмо у центрі солодких втрат
нам ще смакує літа льодяник липовий
з тих що проходять знічено повз – котра
спиниться й через плече озирнеться сліпо

в тепле нікуди в яблучний м'ятний рай
той що в тумані тоне втрачає обриси
жовтень це кислий жом – це така пора
де нам було – і більше не буде – добре



VENOM

1.

камінь тримає туман за бороду
вілли відходять з узбіч – і тонуть
виплисти з грудня бракує зору
вріс в тебе вовняний запах дому

води ведуть у шовкові нутрощі
плющ під яким мармури трухнявіють
вілли й мадонни й непевна суша
сушу порушують хвилі мляві

ми ще невидимі (дім в тумані
дім у диму і вода над віллами)
сторожко тлін зачіпає вилами
листя яке прикриває камінь
камінь який під'їдають хвилі

2.

welcome венеція тепла венозна кров
гола холодна шкіра і ручки зморщені
зробиш в провулок необережний крок
і обіймуть за шию кохані мощі

слина солоня. зелень і молоко
і половина лика часом від'їджена
нею порожньою стільки всього текло
морок і світло й світ крізь муранське скло
що і сама вона стала якась розріджена

ніц не тримається купи не має місьць
не набуває форми не чинить опору
тоне-ніяк-не-втоні і їсть-не-з'їсть
місто води свою нетривку опору

veni в венецію віді але не віч-
ні ці мадонни леви човни і патина
вулички переплетені наче вени

в місті де мешкають статуї без облич
вміють не бачити вміють не пробачити
welcome and rest – венеція значить venom

3.

мандарини не тонуть в каналє гранде
не сезон негода і брешуть мапи
і висока вода лиже місту гланди
залишається тільки лягти і спати

пошрамований мрамур у мряку горнеться
наче місто потай себе соромиться
настовбурчили пір'я промоклі chiese

на закинутих віллах ночують горлиці
під дашком у франциска зимує голуб
за лагуною голий голодний безмір

перехожі котяться горошинами
під мостами спіє солоня піна
але хоч ти як дріботиш спішиш
будеш спинений

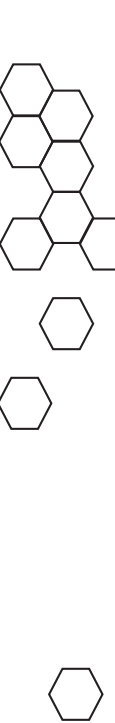
у каналах тремтить зеленаве тісто
зранку зважившись в одяг вологий влізти
знов ідеш і не знаєш де завертати


так чума ходила прозорим містом
наступаючи човнярам на п'яти

кровотечу спускаю себе у стік
в стікс опускаюся тихо сліпа по вуха
крові багато – та вистачить не на всіх
нитка її багряна пульсує глухо

тягне із мене інші життя крихкі
трепет прозорих пальчиків недосправжніх
кров у мені це змучений слід ріки
тої в яку заходиш і вже не страшно

кров це червона пряжа яка горить
з тіла мого висновуючись і танучи
кров умовляє вперто: оцю бери
я дотечу колись – і її не стане теж






так за собою ширячи темний шлейф
тілом суцільним змученістю звіриною
кровотечу і кровотектиму ще
напівлюдина – жінка наполовину

теплий свій сік солоний землі віддам
маковим хашам червоноротим тихим
гола глуха повільна густа вода
з тіла мого наосліп шукає вихід

тіло просить повернути кінцівку відсутню
«подивись – я скалічене перекошене коструbate
подивись – я себе до завтра не донесу
нащо ти мої межі без дозволу пересунула
як дозволила мене навпіл перерубати



подивись – я тепер як місяць росту навспак
порожнечу в собі годую нічною мрякою
нащо ти – хай би й досі він поруч спав»
я кажу я не винна кажу це буває так
але тіло не слухає тілу усе однаково

я кажу зажди вже недовго вже видно край
зуби стиснувши можна і дотерпіти нам

тіло коротко каже – «сама чекай,
я ж – болітиму»

ніжне молочне лице твоє сонне осінь
сутінь дерев твоїх трав голоногих осінь
білих туманів осінь печальні руки
той кого я проводжаю далеко осінь
пахне дощем і димом і ліжком осінь
йди під корою пустоти йому простукати

легкість прощань твоїх осінь плечима стенуто
бавились довго в золото стали порохом
осінь солодким болем в мені росте
голим галуззям в надра складних систем
осінь мені й самій так нестерпно голо

осінь твої лєтовища і плащі
і у волосі знайомий зникомий запах
осінь це флюгер крутиться і тріщить
осінь зростається зважуйтеся спішіть
скоро вас знов розкидає вітер західний

як мені жити в тобі і з тобою осінь
дихати осінь чекати і дочекатися
не розколотися навпіл не розірватися
осінь усе що сталося мало статися

наші нитки лягли на один верстат
отже із нас щось має постати осінь

і ніде і ніколи – ніколи – ніхто не спить
молібденові ясна місяця місяць вулицю
захлинаються пристрастю люди котрі цілюються
а котрі не цілюються просяться «відпусти»

із холодних у теплі ліжка зміяються сні
а розетки рожевих пальців не розпускаються
люди рухають стегнами скрикують задихаються
а отямившись відвертаються до стіни

люди хочуть до інших людей або хочуть геть
їм бракує або вони відчувають надмір
і у кожного муляє в тілі дошкульна смерть
і вони перед нею однаково безпорадні

і між них не спимо так безглуздо окремі ми
ти по той бік екрану говориш мені «зніми»
ті котрі не цілюються довго й жадібно дивляться

живемо як звірята за пазухою зими
я не знаю як крізь мертвотний заслін пітьми
прорости в те блаженство де губи твої і вилиці

і ніде і ніхто і ніколи не спить в той час
коли сон це єдине що може з'єднати нас



НАШІ ДЕРЕВА

1.

наші дерева темні стоять без нас
зелень повзе у сонне нутро кімнат
прийдеш – мене за голосом упізнай
доки за мене ще не говорить сад

я вже умію вгору рости і вниз
коренем і галуззям вгрузаю вглиб
глини й повітря – хай би ми ще збулись
так безпорадно й трепетно як могли б

інші сади чужіші за цей чужий
тож повертайся – бачиш дерева ждуть
тож повертайся – не зауваж межі
я з-під кори щось тихе тобі скажу

2.

ніжність – ось справжнє ім'я цього білого білого дерева
твій голос тривкіший за тебе – але не тривкіший за нашу суть
те що без сну тримає тебе ночами – від чого нестерпно в горлі дере
або прийми або просто забудь

аби тільки ти щоразу з усіх птахів обирав мене
адже ти знаєш як неопалимим страшно танцювати в вогні
зрештою ми з тобою справжніші від наших імен
і тільки біле дерево – ні

Я ВСЛУШИВАЮСЬ В ТВОЙ МАНОК

Станислав МИНАКОВ

РАДОНИЦА

Нас покойнички встречают у ворот,
не видалися мы с ними целый год.

То-то радость, то-то общий интерес!
То-то новость, — говорю, — Христос воскрес!

Большеглазый и улыбчивый народ
населяет этот город-огород.

Здрасьте, родичи-соратники-друзья!
Не сорадоваться встрече нам нельзя.

Вот и свечка на могилочке стоит,
усладительна и радостна на вид:

пламя свечечки колеблется слегка
по причине дуновенья ветерка.

Православные, ну как не сорадеть,
если пасочка с яичком — наша снедь!

Веселитесь, родные мертвецы, —
наши дедки, наши бабки и отцы!

Сядь на лавку, поделися куличом:
дед с отцом стоят за правым за плечом.

Подходи, безплотный дядюшка-сосед,
слушать лучшую на свете из бесед

о земном преодоленье естества.
Мы ведь с вами, мы ведь с вами, вместе с ва...



БАРВИНОЧКИ

прижились мои барвиночки
на могилочке отца
приупала на ботиночки
родовая земляца

где лежат мои кровиночки
посижу да рассужу
я теперича барвиночки
деду тоже посажу

ай минашечки вы миначки
минаковская семья
прижились мои барвиночки
приживуся здесь и я

ВАНЕЧКИНА ТУЧКА

посадил ванюша маму в землю как цветочек
на оградке черной белый завязал платочек
маленький платок в котором маменька ходила
синий василёк на белом. скажут: эко диво!

только други мои други диво не в платочке
и не в синеньком на белом маленьком цветочке
а в такой слезе горючей и тоске нездешней
что носил в душе болючей ванечка сердешный

а еще в нелепой тучке — через год не раньше
люди добрые узрели над макушкой ваньши
облачко такое тучка с синеньким бочочком
над башкой ванятки встала нимбом аль веночком

маленькая как платочек меньше полушалка
всех жара жерьмя сжирает, а ваньку — не жарко
ходит лыбится ванюша солнце не печётся
и выходит это тучка так об нём печётся

а когда и ливень хлынет, ванечку не мочит
ходит малый по равнине — знай себе хохочет
надо всеми сильно каплет и не прекращает
а ванюшу этот ужас больше не стращает

Проснёшься — с головой во аде, в окно посмотришь без очков,
клюёшь зелёные олады из судьбоносных кабачков.

И видится нерезко, в дымке — под лай зверной, под грай ворон:
резвой, как фраер до поимки, неотменимый вавилон.

Ты дал мне, Боже, пищу эту и в утреннюю новь воздвиг,
мои коснеющие лета продлив на непонятный миг.

Ты веришь мне, как будто Ною. И, значит, я не одинок.
Мне боязно. Но я не ною. Я вслушиваюсь в Твой манок,

хоть совесть, рвущаяся в рвоту, страшным-страшна себе самой.
Отправь меня в 6-ю роту — десанту в помощь — в День седьмой!

Мне будет в радость та обновка. И станет память дорога,
как на Нередице церковка под артобстрелом у врага.

ВОСЬМИСТРОЧНЫЕ СТАНСЫ

1.

Я постным становлюсь и пресным,
простым, безхитростным и ясным.
Отдавший дань мослам и чреслам,
я возвращён к воловьим яслям —
тем самым, с тишиной Младенца
сладчайшей, истинной, безстрастной.
Есть счастье для отщепенца —
свет мягкий, образ неконтрастный.

2.

Ты дал мне дар: живое сердце,
вмещающее всё живое —
мерцающая веры дверца,
в любви участие доленое.
На свадьбу в Галилейской Кане
я вышел, словно на свободу,
нетерпеливыми глотками
я пью вина живую воду.

3.

Но, озираясь спозаранку,
я вижу страшные картины:
уходят люди в несознанку —
в глухую оторопь, в кретины.
К себе изживши отвращенье,
никто не шепчет: «Боже, дрянь я!»
И если есть кому прощенье,
то только после воздаянья.

4.

Скажи ж, почто дрожат колени
с утра у грешников скорбящих —
от страха или же от лени
играющих в бесовский ящик:
горит, горит перед очами
и дразнит ложью обречённой,
и превращает, враг, ночами
им красный угол — в чорный, чорный.

5.

Сорви с них лень, пугни сильнее,
чем чорт, появивший их, пугает,
перечеркни их ахинеи,
ничтожный лепет попугайный!
«Любовь!» — им сказано; в любви ж
пусть и живут, отринув дрёму.
...Ловец, почто Ты их не ловишь,
клонясь к пришествию второму!

У грешника болит рука. Он болью, будто тряпка, выжат.
Рука нужна ему пока. Урча, собачка руку лижет.

Зверёныш — верный терапевт, зубастый ангел безусловный.
Он жизнь, сходящую на нет, кропит всерьёз слюной солёной.

Крепись — до Страшного суда. Греми, собачкина посуда!
Нам сказано: «иди сюда», и никогда — «иди отсюда».

АЛЁНУШКА. ВАСНЕЦОВ

и жаль её сильнее прочих
поскольку звонче всех поёт
поскольку значит и пророчит
и ноженьки об камни бьёт

поскольку серыми своими
глядит как ласковая рысь
и полымя волос и имя
льняное заплетая в высь

поскольку и в лоскутьях нищих
льнёт к тайне омутов земных
поскольку плачет тише иных
и молча молится за них

КУЗНЕЧИК

Елене Бувевич и сыну её Ивану

Час настал, отделяющий души от тел,
и застыла ветла у крыльца.
И кузнечик, мерцая крылами, слетел
на худую ладонь чернеца.

И продвинулась жизнь по сухому лицу,
и монах свою выю пригнул.
И кузнечик в глаза заглянул чернецу,
и чернец кузнецу — заглянул.

«Как последняя весть на ладони моей,
так я весь — на ладони Твоей...» —
молвил схимник, радея о смерти своей
и луну упустив меж ветвей.

«Перейти переход, и не будет конца —
в этом знак кузнеца-пришлеца.
Переходного всем не избежать венца —
по веленью и знаку Отца.



Нет, не смерть нас страшит, а страшит переход,
щель меж жизнями — этой и той.
Всяк идёт через страх на свободу свобод,
И трепещет от правды простой».

И ещё дошептал: «Погоди, Азраил,
не спеши, погоди, Шестикрыл!»
Но зелёный разлив синеву озарил,
дверцы сферного зренья открыл.

И слышался стрекот, похожий на гул,
и как будто бы ивы пригнул.
...И кузнечик бездвижную руку лягнул:
в неизбежное небо прыгну́л.

КРЫЖОВНИК

Думал: что меня сразит и проймёт?
Вот, крыжовник не родит третий год.
Я его оберегал от невзгод —
подминал ему куриный помёт.

А размыслить: в чём, по сути, плоды?
Куст хорош и без плодов, сам собой!
Он подвижен, он на все на лады
распевает говорливой листво́й.

Ты, Господь, его, ужо, не ничтожь,
за смоковницей в расход не пускай!
Нету ягод у него, ну и что ж!
А пускай себе растёт, а пускай!

Не хочу я корчевать и рубить —
не желаю побивать или злеть.
Я, быть может, не умею любить,
но умею поливать и жалеть.

АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ. ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

Кто толкует про крах человечества,
кто куёт себе «счастья ключи»...
Только вновь на гнездовья Отечества
по весне прилетают грачи.

Всё возможно для русского —
Палехи, и Федоскино, и Хохлома,
и молоховы всполохи памяти,
где кровавой слюны бахрама.

Можно дыбить судьбину хитровую,
стыдный сор выносить из избы...
Только всё ж колокольню шатровую —
среди берёз, в облаках — не избыть.

Вспомни церковку ту, Воскресенскую,
меж грачиных пронзительных гнёзд,
синеву Богородцеву женскую,
что сочится на землю из звёзд.

Вспомни тёмные маковки медные,
тени веток на талом снегу.
И крестьянские хижины бедные
не затри в замутнённом мозгу.

Отдыхай, прозревай или ратничай —
поднимай над горбушкой ржаной
за помин Алексея Кондратьича
русской водки стакан крыжаной!

Помрачившийся классово, расово,
мой народ, заплутавший, как тать,
не забудь живописца Саврасова,
что учил Левитана писать.






Этери БАСАРИЯ

РАД, БРАТ БОЖЕНКИ

С Радом я училась в одной школе, только он занимался двумя классами выше. Его мать – Ангелка Божидаровна – преподавала у нас математику. Я, ненавидевшая этот предмет всеми фибрами души, трепетала перед ней – высокой, статной, смуглой, со сросшимися на переносице густыми бровями и блестящими черными волосами, собранными в тяжелый узел на затылке. Она же ко мне относилась хорошо и даже уверяла, что к алгебре я человек способный (вот уж чему невозможно было поверить), а в геометрии мне только не хватает пространственного мышления. В школе она держалась обособленно, ни с кем близкой дружбы не водила, и, по-моему, все считали её высокомерной, хотя отчего-то предполагалось, что она имеет право так себя вести. Отец Рада – военный – долго, во всяком случае, перед выходом в отставку, служил в ГДР и, когда он вернулся с семьей в отчий дом в районном центре, как бы считался немного иностранцем, и не абхазка жена со своими причудами легко ему прощалась – если он нуждался в прощении. Само собой предполагалось, что Ангелку Божидаровну наш бравый офицер умыкнул прямо из столицы Болгарской Народной Республики. Это потом, учась в Москве, я узнала, что родом она была с Украины, из Одесской области. Но лично для меня весна с того времени, как она у нас стала преподавать, уже ассоциировалась не с расцветшей алычой, не с ласточкой, которая в «сени к нам летит», а с мартинцами, – вязаными красно-белыми бомбошками на витых шнурках. Первого марта они, прикрепленные с помощью крохотной английской булавки на отворот серого пиджака неприступной Ангелки Божидаровны, являли собой легкомысленный и радостный намек на грядущее разноцветье весны и лета.

Сына она называла Радомир. Все остальные на абхазский лад окликали его Радом, да и в журнале он значился именно так. Видно, родители выбрали ему имя, как компромисс, и чтобы славянского уха не резало и на абхазском звучало знакомо. Не знаю, как они во всем остальном учитывали интересы друг друга, но сын вырос своевольным человеком, к компромиссам не склонным. Я ещё училась в школе, когда Рад пере-

ехал с родителями в Сухум. Но до того мы несколько раз принимали вместе участие в постановках школьного драмкружка, которым руководила наша преподавательница русского языка и литературы. В инсценировке, как я теперь понимаю, сильно идеологизированного произведения Маршака «Мистер Твистер» он играл миллионера – отца избалованной дочурки, которой приспичило непременно побывать в Ленинграде. Роль капризной девочки досталась мне, хотя капризно вел себя именно мой сценический отец. Он наотрез отказался читать такие невинные строчки: «Поедем в Неаполь, поедем в Багдад», утверждая, что, раз миллионер – самодур и расист, из-за чего и начались у него проблемы в СССР, – вдруг противопоставляет Ленинграду Багдад, то логика подсказывает: европейский город Неаполь здесь ни при чем. И строка должна звучать так: «Поедем в Непал, поедем в Багдад». «Какая тебе разница? – удивлялись все вокруг. – Говори, что тебе велят!» Он пожимал плечами, мол, что с вами спорить. И руководительница опрометчиво решила, что ей удалось его вразумить. Со сцены Рад произнес именно «Непал». Я, вытаращив глаза, заорала, топнув ногой: «Хочу в Ленинград!». – «А в Петербург слабо?» – ласково осведомился он. Так как эта реплика не была учтена в постановке, я растерянно уставилась на него. «Пойдем, юная мисс, обсудим детали в моем кабинете!» – отечески произнес Рад, и, схватив меня за руку, повлек со сцены, и я, стараясь высвободиться, била его по плечу игрушечной обезьяной, которой по сценарию полагалось быть живой. Зал зашелся в хохоте и отчаянно нам аплодировал. Странное дело, но после спектакля Раду не досталось за самовольство и меня не поругали за нецелевое использование плюшевой обезьяны. Когда же надумали поставить сцены из «Евгения Онегина», его снова позвали в артисты, предложив роль Онегина, мне – Татьяны, наверное, больше из-за того, что я легко запоминала стихи и знала их множество. У Рада тоже была замечательная память, и литературу он любил, к тому же в наших районных масштабах считалось, что он «как денди лондонский одет», ну, пусть берлинский, всё равно не похоже на других. Только Рад отказался со мной играть, сказал, что я ещё мала для образа Татьяны и вообще он согласен выступать только со своей одноклассницей, которую, кстати, звали Татой – а записана была, ясное дело, Татьяной. И у меня, старательной, забрали роль. Как я теперь понимаю, решение было правильным. Но тогда, на репетициях, сидя в углу, я волчком глядела на белокожую, волоокую одноклассницу Рада, у которой были темные густые волосы, как и у его матери – только кудрявились. Я слушала её голос, звучащий с придыханием, как у актрисы Татьяны Дорониной, и чувствовала себя самым маленьким лягушонком на самом жалком болоте, куда никогда не долетит стрела Ивана Царевича, а если и долетит, то просвистит мимо меня, к лягушке позеленей и покрупней. Тем не менее, я упорно являлась на репетицию, где теперь мне отводилась роль лишь зрительницы, обязанности же суфлера я добровольно взяла на себя, громко подсказывая с места Тате, если она забывала какую-либо строчку из своего монолога. Она каждый раз с улыбкой благодарила за помощь, что меня неимоверно злило, но удержаться от подсказок не получалось. Правда, на самом вечере, когда Тата в шелковом белом платье с завышенной талией летящим шагом – на ногах у неё были чешки, задрапированные лоскутками парчи, – прошла к садовой скамье, втащенной




на сцену со школьного двора, и невесомо, как тополиный пух, опустилась на неё, сердце у меня зашло от восторга. И я уже про себя шептала строки её монолога не для того, чтобы громко подсказать, если она вдруг запнется, а из-за страха, что вдруг образ нерадивой ученицы с невыученным заданием подомнет под себя воздушный облик пушкинской Татьяны. Я неожиданно обнаружила, что мне очень хочется, чтобы они выступили хорошо и показали себя во всей красе. Так оно и вышло. Успех достался обоим. Но почему-то Тата осталась Татой, а Рада до конца учебного года все называли Онегиным, правда, часто сокращая до Оне. После летних каникул Рад не появился в школе. Аттестат зрелости он получал уже в Сухуме, куда переехали его родители.

Вновь я встретилась с ним, будучи уже студенткой, в Москве на собрании абхазского землячества. Высокий, стройный с четко очерченными губами, скуластый, большеглазый, он с улыбкой шагнул мне навстречу.

– Теперь я, пожалуй, согласился бы сыграть с тобой в «Евгений Онегине», – сказал он.

– У меня уже есть Онегин! – отшутилась я. – Да и у тебя вижу – Татьяна.



Он пришел на встречу с худенькой смуглой девушкой со сросшимися на переносице, как у Ангелки Божидаровны, черными бровями и с разделенными на прямой пробор тяжелыми волосами, свисавшими вдоль щек плотным пологом. Нижняя полная губа спутницы Рада была немного вывернута, придавая её лицу слегка презрительное выражение.

– Боженка – моя двоюродная сестра по материнской линии! – представил он.

– Здесь я – Женька! – сказала она, протягивая мне узкую руку с обкусанными ногтями.

Я рассмеялась, вспомнив песенку, которую ещё в школе слышала: «поармянски Ованес, а по-русски – Ваня».

– Что смешного?

Она обволокла меня теменью непроницаемых глаз.

Кстати, такие же темные, не улыбочивые глаза были у моего одноклассника Ованеса, из-за которого та песенка и застряла в голове. Но сам он любил пошутить, причем над собой тоже, и получалось это не натужно, а вполне естественно. Насчет глаз у него была заготовлена историческая справка: «Это из-за янычар прадеды наши научились так смотреть – смотрят и не видят, ну а нам в наследство передалось. Только к друзьям не имеет отношения! Мы и с закрытыми глазами их видим!» Я подумала, что янычары здорово насолили в свое время и болгарам. Так что недружелюбный взгляд Боженки можно было ретранслировать в прошлое.

– Вы из Софии? – спросила я с серьезным и даже как бы заинтересованным видом, чтобы сгладить свой неуместный смех. Объяснять же, чем он вызван, показалось ещё более неуместным.

– Я учусь в сельхозинституте, на втором курсе, – дала она странный ответ.

Похоже, и с вежливым вопросом я пролетела, хотя, не желая в том признаваться, пробормотала:

– Понятно, приехали по обмену.

Тогда была мода у вузов стран социалистического лагеря обмениваться студентами. А Болгарию и вовсе называли шестнадцатой республикой СССР, и в каждом вузе студентов оттуда было хоть пруд пруди.

– Боженка из Одесской области, она там родилась, как и моя мама. Её родительница моя родная тетка, – пояснил мне Рад, непонимающе глядя на меня.

Наверное, он не был в курсе, что в районном городке, где и проучился-то всего года два, считали: его бравый отец, служивший за границей, и счастье свое добыл в чужеземных краях – посадил девушку на танк или в штабной виллис и вывез из какой-либо страны, где слава советского оружия не меркла ни днем ни ночью. Если бы кто узнал, что он нашел свою судьбу на задворках огромной страны, думаю, некоторая часть позолоты с него сошла бы.

– Боженка с ума сходит по всему абхазскому! – сообщил Рад.

– Это он меня заразил! – ткнула она пальцем в брата.

– Он – понятно, каждый кулик свое болото хвалит. Но Вы...

– Не старайся, – улыбнулся Рад. – Боженка знает точный адрес земного рая.

Сестрица помотала справа налево головой – этот жест болгар, означающий отнюдь не отрицание, а подтверждение, мне уже был известен по моим сокурсникам-болгарам.

– Вы знаете, как звучит Абхазия по-абхазски? – обратилась она ко мне и торжествующе перевела: – Страна души!

Боженка улыбнулась. Зубы у неё оказались мелкие и редкие, как часто бывает у детей, ещё не сменивших молочные на постоянные.

– Знаю! Я ведь тоже кулик с того болота!

– Только скупой на похвалы кулик! – поддразнил меня Рад.

И тут, к моему изумлению, Боженка принялась мне рассказывать в подробностях, что у нас в Абхазии принято, а что – нет. Рад с усмешкой глянул на меня и тут же смылся, присоединился к компании ребят, которые пришли со своими местными подружками. Мне же ничего не оставалось, как терпеливо внимать обзорной восторженной лекции об особенностях моей же родины. Хорошо, что вскоре организаторы встречи позвали нас в банкетный зал.

Как я позже убедилась, Боженка была человеком, готовым с прямоотой римского легионера говорить всем и каждому, что она думает о мире и о собеседнике в частности. Её восторженные характеристики некоторых молодых людей из нашего землячества, которые она озвучивала им в лицо, приводили их в немалое смущение. Кто-то охотно, возможно, и разделил бы её восторги по поводу себя, неотразимого, и завязал бы с ней необременительные отношения, если бы не опасался конфликта с Радом. Правда, называлось это «из уважения к Раду нельзя на неё тень бросать».

Мне теперь кажется: Боженка была из числа тех людей, которые доверяют больше, чем себе, любой рекламе. Правда, мы тогда мало что знали о рекламе. Я лично ничего не припомню, кроме щитов с призывами «Летайте самолетами Аэрофлота», как будто у нас был выбор, и мы могли предпочесть какие-то другие авиакомпании. Да ещё категорическое утверждение: «Советский человек любит рыбу хек».

Рад же по природе своей был пиарщик, хотя само слово тогда тоже не было в ходу, и он своими рассказами так влюбил сестрицу в Абхазию, что каждый представитель оттуда казался особенным человеком. Я этому не удивилась. В ту пору он носился с книгами поэта Юрия Лакербай и зачитывал нам наизусть стихи целыми циклами. Юрий Лакербай действительно хороший поэт, но тогда у меня лично были другие предпочтения. Тем не менее, Раду удалось и мне внушить, что стыдно не знать наизусть стихов своего земляка. При этом он утверждал, что особенное достоинство произведений Лакербай заключается в том, что он воспитан на стыке двух культур: отец – абхаз, а мать – славянка, самые яркие личности рождаются из слияния кровей разных народов. Рад ни слова не говорил о себе, но получалось, что и он из разряда ярких личностей, раз родители представители разных национальностей. Уж кто не мог ни на что подобное рассчитывать, так это я, зная свою родословную по седьмое колено – и все мои предки в обозримом прошлом были абхазами.

Когда мы встретились в Москве, Рад уже учился на третьем курсе экономического факультета и подумывал сменить вуз, уверяя, что как на практике заниматься делом, он знает гораздо лучше своих преподавателей, а теория стара и скучна.

– Я вообще думала, что ты пойдешь на филфак или журналистику, – заметила я. – Ты столько книг перечитал и стихи любишь.

– Неужели каждый читатель должен стать писателем? – засмеялся он. – Нет, у меня другой профиль.

Как ни странно, именно от Боженки, а не в Абхазии, и не от ребят-земляков, я узнала, что отец Рада, военный отставник, теперь «цеховик». Так назывались у нас люди, которые имели свое производство внутри какой-либо государственной фабрики или завода и делали большие деньги. В ту пору такую коммерческую жилку в людях, разумеется, требовалось официально выдирать с презрением. Вообще, дело это было подсудное, потому цеховикам приходилось зарабатывать очень большие деньги, чтобы хватило не только им, но и на взятки бесконечным проверяющим. Сейчас любой бизнесмен, наверное, удивился бы, если бы кто ему сказал, что тогдашние дельцы стыдились своего умения делать деньги даже перед теми, кто кормился с их рук. И, конечно же, образ офицера, который представлял вооруженные силы страны даже за её пределами, никак не вязался с полуподпольной деятельностью. «С кем вы, господа офицеры?» – блеснула я цитатой, но Боженка пропустила её мимо ушей. Она это умела не хуже, чем смотреть невидяще.

Отец Рада занимался текстильными изделиями официально и неофициально тоже. Магазины в субтропическом Сухуме были завалены широкими, мохнатыми, ярко раскрашенными женскими шарфами под мохер. Если удачно выдернуть из шарфа нитку и поджечь, она пахла овцой, так что и натуральная шерстяная нить в тех изделиях, безусловно, присутствовала. А уж в каких пропорциях с искусственной пряжей – другой вопрос. Но точно могу сказать: в разгар летнего сезона шарфы мгновенно исчезали с прилавков. Их скупали курортники, очевидно, по принципу: готовь сани летом. Да и я сама по просьбе многочисленных моих подруг, их мам и тетушек являлась в Москву, загруженная широченными шарфами. Мохнатую про-

дукцию, окрашенную яркими, но не стойкими красками, производил в своем цехе отец Рада, о чем я узнала от той же Боженки.

В Абхазии я слышала о родителе моего приятеля, что он человек не бедный и охотник редкий – в глаз кунице попадает, а вот тамада посредственный, чтобы не сказать хуже – на чужбине, пока служил Родине, подзабыл, как стол вести, соблюдая субординацию тостов, и с красноречием у него не сложилось.

Кроме официально изготавливаемых ложномохеровых шарфов, в цехе отца Рада производили и другой более интересный товар, о чем я узнала опять же в Москве, но на этот раз не от Боженки.

Со мной на курсе училась бойкая девушка по имени Сталина. Позже, когда все, что было связано с вождем всех времен и народов, стало звучать как брань, она переименовала себя в Фаину. Но в ту пору моя однокурсница, хоть и сердилась на своих узколобых родителей, не предусмотревших в свое время возможность неожиданного низложения вождя, правда, уже мертвого, ещё отзывалась на данное при рождении имя.

Сталина – очевидно, имя обязывало – была с задатками лидера и большим знатоком моды. Её рассуждения о том, что сейчас носят, и что собой представляет настоящая «фирма» (с ударением на последнем «а») были столь красноречивы, что у меня часто возникали подозрения: ту ли профессию она выбрала? Ей, наверное, стоило в модельеры пойти. Правда, в те времена высокая мода ещё не вытеснила из жизни высокую поэзию, в которой Сталина намеревалась оставить свой неизгладимый след.

Однажды субботним днем она постучалась в мою комнату в общежитии и категорично заявила, что никаких отказов и слушать не станет. Ей прекрасно известно о моем гонораре из журнала «Сельская жизнь», полученном только вчера. Несмотря на всем известное мое умение вбухивать деньги в никому не нужные старые издания, растратить гонорар на книжки я вряд ли ещё успела. Значит, часть денег я одалживаю ей, остальное беру для себя, и мы немедленно отправляемся в общественный туалет в районе Пушкинской площади.

– Зачем нам ехать в туалет на Пушкинской? – поразилась я. – Да ещё с деньгами?

– Купим себе шмоток.

– Купим что? – я аж подскочила на месте.

– Ох, и темнота ты некультурная, там за печью! Не знаешь того, что все знают! Хоть шапку тебе купим! Посмотри на свою! Такие торбы с ушами и помпонами здешние бабки вяжут для своих трехлетних внучек.

Вязанная из кроличьего пуха моя шапка действительно была неказистой, да ещё и лезла немилосердно. На юге я и вовсе обходилась без головного убора, а в Москве никак не могла привыкнуть ни к беретам, ни к шапкам, ни к платкам, смотрела на них с отвращением и выбирала их сообразно функциональности – лишь бы защищали от морозов.

– Сапоги тоже можно в туалете купить?

– Почему нельзя? Товар ходкий!

– Раз ходкий, лучшего места им не нашли? Зачем ими в туалете торгуют?

– А где, по-твоему, ещё?

Я согласилась со Сталиной отправиться в необычный общественный туалет только для того, чтобы убедиться, что она меня не разыгрывает, и ещё потому, что мои позапрошлогодние сапоги уже протекали, а очереди, которые выстраивались в ЦУМе за импортной обувью, устрашали. Я с полгода, наверное, вспоминала, как люди, стоявшие за сапогами, чернилами на ладонях писали порядковые номера, чтобы никто не вздумал пролезть вне очереди.

Сталина говорила сухую правду. По-моему, редко кто забредал в этот туалет, чтобы использовать его по назначению. Все помещение, как перед кабинками, так и там, где находились фаянсовые мойки с узкими зеркалами над ними, были запружены продавцами и покупателями. На некоторые краны над раковинами были натянуты красные резиновые мешочки. Приглядевшись, я поняла, что это были сдутые шары. Раковины под таким образом зачехленными кранами перекрывали плотные листы из картона. На них громоздилась различная парфюмерия, часть из которой была куплена то ли в польском магазине «Ванда» (помню с тех пор духи «Пани Валевская» и попроще, но с романтическим названием «Быть может...»), то ли в чешском, который, если не ошибаюсь, тоже носил женское имя – «Власта». И ещё душистое мыло из магазина «Лейпциг». Носильные вещи продавщицы держали, перекинув через руки, некоторые были наряжены, как манекены, в образцы своих товаров, не всегда, как теперь понимаю, делая им лучшую рекламу. Многие сбытчицы дефицитного товара сообщали, понизив голос, что могут предложить настоящие джинсы – штатские – то есть из США. Другие представлялись женами моряков дальнего плавания. По уверению предприимчивых жен морских волков, кто приобретет у них вещи, привезенные из далеких лучших магазинов мира, не рискует, что точно в таких же платьях или кофточках будет ходить пол-Москвы. Одной из продавщиц я сразу поверила, что её муж и вправду бороздит далекие моря и океаны. Она держала в руках трикотажную блузку спортивного покроя немислимой расцветки: на ядовито-зеленом фоне сидели на коричневых ветках огромные попугаи желто-красного и ещё каких-то цветов. Такую ткань могли произвести и вправду в очень далекой и очень яркой стране, где эти самые попугаи слетают наземь поклевать крошек, как голуби на Красной площади. Я растерянно топталась на месте, близоруко стараясь высмотреть в толчее, не предлагает ли кто-нибудь сапоги.

Сталина же ринулась примерять какие-то кофточки, шарфики, но продавщицы не слишком рвались ей нахваливать свой товар. По-моему, они сразу определяли, кто у них может купить дорогие вещи, а кто – нет. То, что Сталина сыпала названиями фирм, о которых я, понятно, и не слышала, а если и слышала, то не запомнила, не слишком их впечатлило.

Они оттесняли её в сторону:

- Отойди, девочка, дай старшим вначале примерить!
- Мы берем эту шапку!

Сталина протащила меня в угол, где девчонка в джинсах и в голубом свитере крупной вязки продавала кепи, напоминающие «шапки-аэродромы», что носили у нас на юге мужчины, только козырек был пошире, помягче, закруглен с двух сторон, а верх – из плетеной объемной, нежесткой ткани.

Сталина нахлобучила на меня кепку густо-серого цвета – она была с теплой подкладкой – и с помощью продавщицы, заставив расступиться нескольких человек, подвела к зеркалу над мойкой.

– Из Франции, – небрежно, но не без гордости сообщила хозяйка кепи. – Сейчас там это писк моды.

«Почему сейчас? – подумала я, смущенно разглядывая себя в зеркале. – По моему, в такой кепке ходил ещё Гаврош из романа Гюго «Отверженные». И он был уличный мальчишка, а не законодатель моды!».

– Я на Гавроша похожа, – озвучила я свою мысль и попыталась стянуть с себя головной убор гамена минувшего века.

Но Сталина больно ушипнула меня и шепнула, чтобы я не позорилась, умничая, и, в конце концов, если шапка мне надоест, она заберет её и с радостью будет носить.

– К вашей мальчишеской стрижке и нестандартной внешности кепи и вправду подходит, – не то ободрила, не то посочувствовала плотная пожилая женщина, сторожившая свой парфюм на одной из раковин. – Поторгуйтесь хорошенько и берите.

– Чего торговаться?! Это фирма! Смотрите на наклейку на ободке! – заносчиво возроптала хозяйка товара, но пожилая выразительно кашлянула и она быстро добавила. – Но немножко вам скину, вы же, наверное, студентки, я – тоже, только учусь на вечернем. Вы где учитесь?

Я сказала.

– Меня зовут Лена!

Я тоже назвалась.

– Ну, раз мы обе студентки и почти уже подружки, отдам на одну треть дешевле, за столько, за сколько сама купила!

Она улыбнулась приветливо, и я, непонятно почему, почувствовала себя ей обязанной, а тут ещё Сталина подзуживала: «Бери, что тут думать?» и я молча достала деньги, правда, с бормотаньем: «Сапоги хотела купить!»

– Как выйдете отсюда, повернете налево и зайдете в подворотню, там продают сапоги что надо.

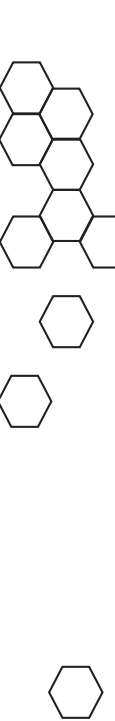
Сталина купила себе кружевные трусики и бюстгальтер ярко-красного цвета, убеждая то ли меня, то ли себя, что настоящей девушке без этого никак не обойтись, и со смехом добавила:

– Тем более, красное мне к лицу.

А я задумалась: так ли обязательно, чтобы бюстгальтер, который носится под одеждой, был к лицу? Во всяком случае, я в её торги не вмешивалась, так как больше всего хотелось поскорее выбраться наружу. Хотя здесь приятно пахло различной парфюмерией и совсем не так, как в других общественных туалетах, меня слегка подташнивало: наверное, из-за толчеи и отсутствия окон – я не люблю закрытых пространств. Праздные размышления и вопросы могли подождать.

Наконец мы выбрались наружу и направились в подворотню, где в полутемном проходе стояло несколько молодых ребят с объемными сумками у ног.

– Кто предложит фирменные сапоги? – громко спросила Сталина, войдя под арку. – Пусть встанет передо мной, как лист перед травой!



Все-таки она была поэтом! Но сказочную её фразу, кажется, никто не оценил.

– Не надо брать верхние ноты. Ты не в Большом театре! – негромко откликнулся невысокий парень в замшевой рыжей куртке с белоснежным меховым подбоем, в джинсах и сапогах на толстой подошве.

Если бы он не заговорил, я бы, наверное, приняла бы его за какого-то иностранного студента. Но акал он лихо, по-московски.

– Так есть сапоги? – Сталина немного стушеввалась, возможно, из-за его насмешливого тона или потому, что одет был с иголочки и странно смотрелся в этой подворотне, хотя и он, наверное, как тетки в туалете, часть своего товара носил на себе, как образец.

– Размер?!

– Какой у нас размер? – повернула ко мне голову Сталина, хотя прекрасно знала, какого размера обувь ношу.

Я по-солдатски коротко отчеканила нужные цифры.

– Есть такой размер!

Парень открыл спортивную сумку и извлек оттуда пару высоких сапог то ли темно-коричневых, то ли черных – из-за тусклого освещения в подворотне трудно было разобраться. Я понадеялась, что сапоги черного цвета, будут на все случаи жизни и порадовалась, что они без прибаμβасов в виде пряжек, замшевых вставок, а то и кожаных цветочков, – в ту пору как раз было такое поветрие декорировать сапоги всякого рода излишествами.

– Что за фирма? – поинтересовалась Сталина.

– Классная! «Сэм-энд-Пол»!

– Как?

– Слышала о лондонском магазине «Макс-энд-Спенсер»?

– Допустим!

– А это не менее уважаемая фирма «Сэм-энд-Пол».

Я протянула руку за продукцией фирмы «Сэм-энд-Пол», когда за спиной услышала, сказанное на абхазском: «Не вздумай даже примерить!» – и удивленно обернулась. За моей спиной, вобрав руки в карманы дубленки с поднятым воротником и слегка покачиваясь на длинных ногах, обтянутых в джинсы, стоял Рад и улыбался.

– Молчи! – велел он снова по-абхазски и кинул через мое плечо: – Молодец, Сашок, хорошо работаешь, но это моя землячка.

– Не понял?! – набычился хозяин сапог.

– Сапоги у неё есть, просто договорились с ней о встрече здесь. Я припоздал, вот она и переводит время, как может.

– А-а...

– Пошли! Люди здесь работают, а ты балуешься.

Рад взял меня за локоть и повел к свету улицы.

– У меня протекают сапоги, а дежурить в ЦУМе или в ГУМе, дожидаясь, пока выбросят импорт, не хочется, – зачастила я, почему-то чувствуя себя неловко, будто он застал меня за неподобающим занятием.

– Я и удивился, – небрежно обронил он по-русски и поинтересовался, снова перейдя на родной язык: – А эта индюшка с тобой?

Я совсем забыла про Сталину. Она шла поодаль с независимо вскинутой головой. Припомнив вычитанные из книжек правила поведения, я чинно познакомила их:

– Сталина, это мой земляк Рад. Рад – это...

– Твоя подруга Сталина, – с улыбкой перебил он и осведомился: – Вы тоже в поисках обуви?

– Нет, я джинсы хотела купить.

– Почему тогда у Сашки не посмотрели? У него настоящие «Леви Страусс». Бегите к нему и скажите, что вы от Мирко и он сделает вам большую скидку.

– А кто такой Мирко? Такой же шустрый, как и Вы? – кокетливо спросила Сталина.

– Мирко это я! Полное мое имя Радомир! И для некоторых друзей я Мирко.

– Мне нравится! – сказала Сталина.

– В следующий раз, когда вы придете с моей сестренкой на сбор землячества, называйте меня Мирко, разрешаю. Хотя для землячков я – Рад.

Так я неожиданно превратилась в его сестренку, а Сталина в очередную его девушку, раз она, подпав под его нахальное обаяние, с готовностью сказала, что ничего не имеет против имени Рад. Легко выговаривается, не то что некоторые кавказские имена. Хотя, по-моему, она согласилась бы его окликать и Тутанхамоном, лишь бы он не лишал её своего внимания.

– Беги к Сашку. А то у него всего две пары настоящих джинсов. Остальное паленка.

Но Сталине не очень хотелось оставлять нас, и она, указав на мою кепку, о которой я слегка подзабыла, сказала:

– Вот мы сегодня купили. Французская.

– Вижу! – кивнул он, потянул меня за руку и попрощался со Сталиной: – Ну, старушка, до скорой встречи!

– Рад, а что ты там делал? В подворотне? – спросила я, когда мы остались одни.

– Как что? Товар свой контролировал.

– Какой товар?

– Фирмы «Сэм-энд-пол»! – Он рассмеялся. – Ты не поняла о чем речь? «Сэм-энд-Пол» – это самопальный продукт, подделка, самоделка, назови как хочешь. Его всучивают таким «знатокам», как твоя подруга индюшка, ну, конечно, под видом разных марок. Твоя подруга сейчас купит «Леви Страусс» из сухумского цеха.

– Разве ты... – я не посмела выговорить оскорбительное слово «спекулянт» и съехала на нечто неопределенное: – А разве такое возможно?

Он по-своему понял меня:

– Что тут сложного?! Это же тебе не полотна Веласкеса подделывать! – блеснул он эрудицией. – Правда, умельцы находятся, которые и с этим справляются.

– И совсем никто не может отличить?

– Почему не может? Специалисты могут! Но ведь расчет не на специалистов, на обывателей...

– Зачем им вообще подделки?

– Они что, разбирают подделка – не подделка? Обыватель как рассуждает? Товар – оттуда, где всё лучше, чем у нас, только вот люди похуже. Но они ведь людей и не собираются покупать.

– Ты-то как рассуждаешь?

Мне почему-то стало обидно за тех, кому всучивают изделия фирмы «Сэм-энд-Пол».

– Я рассуждаю так: кто обманывается рад, тому надо помогать! И вообще, наверняка в институте тебя учили: спрос рождает предложение.

– Но это же, это же... – я осеклась, вновь придержав в последний момент рвущееся наружу, как скакун на просторы, определение – «спекуляция».

К тому же я не была уверена, называется ли спекуляцией, чем Рад занимается. Ведь он ничего не перепродавал. А только... что «только»? Торговал чужим именем. Можно ли это назвать спекуляцией?

Он прищурился, разглядывая меня, и улыбнулся:

– Не старайся, не всегда легко провести твердую линию между черным и белым! – он легонько коснулся моего лба указательным пальцем. – Кстати, твоя шапка с Малой Арнаутской в Одессе.

– Обманули, да?

Я огорчилась, попутно отметив про себя, что, судя по всему, подделки заполнили нашу страну.

– Почему обманули? Ты же сама её выбрала.

– Угу...

Я почему-то посчитала неудобным признаться: шапку выбрала не я, а Сталина. Тогда получилось бы, будто я способна отличить подделку от настоящего, знаю больше тех, кто покупает липовый товар. А это никак не соответствовало правде.

– Не огорчайся! Шапка тебе идет!

– Я не потому...

Но не рискнула сказать, почему я огорчена, а вместо этого глупо спросила:

– Ты по-прежнему любишь стихи?

– Да, – сказал он. – И стихи, и прозу и некоторые философские трактаты тоже! – он рассмеялся. – Давай-ка поедem за сапогами. Они на съемной квартире.

Я заколебалась. Будь на его месте не абхаз, я бы чиниться не стала. Но сейчас я опасалась, что меня неправильно поймут. Рад понял правильно и успокоил:

– Там – Боженка. Наши мамы сняли как бы в складчину квартиру, хотя, конечно, оплачиваем её мы с отцом. Да и ночью я там нечасто. Зато сестричке нравится. Она чувствует себя столичной штучкой. Тоже ведется на всякие марки, лейблы.

– Вы и сапоги шьете в Сухуме?

– Может, кто-то и шьет, но это не по моей части. Зато в нашей квартире один знакомый хранит женские югославские сапоги на любую ногу, привез неделю назад. Боженка их все перемерила, будто она сороконожка.

– А где он их продает?

– У него свои точки. И товар не паленка, правда, и не фирма. Ширпотреб из Югославии, но качественный.

– А Сашка почему у него не берет?
– Потому что цены другие. Сашке из Армении присылают по дешевке. А я ему джинсы поставляю.

– Настоящие?

– Почти!

– Послушай, почему ты шарфы, которые производят в цехе у твоего отца, не сдаешь Сашке? Я каждое лето, чуть ли не десятками привожу подругам и родственникам подруг.

– Азарта нет! Никакой игры: хочешь – бери, не хочешь – не бери. Все без подсазки! А вот обдурить разевающих рот на чужие марки ради понта, это как в карты выиграть. Дело же не в деньгах. В кайфе!

Я почему-то ему сразу поверила – дело не в деньгах. Хотя не могла себе уяснить, в чем заключается кайф.

Что дело было не в деньгах, я убедилась, когда мы приехали к ним на квартиру, и я выбрала мягкие удобные югославские сапоги.

На вопрос о цене он поинтересовался:

– Сколько денег у тебя?

Я вытащила все, что у меня было, и Рад взял пару бумажек из тощей моей пачки, сказав, что хватит.

– Мирко! – не то всхлипнула, не то задушено вскрикнула Боженка.

И я догадалась, что сапоги стоят намного дороже. Но он и слышать ни о чем другом не хотел и так грозно глянул на сестру, что она умчалась на кухню готовить нам кофе, который потом подала по болгарскому обычаю с ледяной водой для заправки. Она вдруг стала лукаво поглядывать на меня, и я, улучив момент, когда Рад вышел в переднюю ответить на звонок – телефонный аппарат стоял там, – быстро проговорила:

– Женька, я не девушка Рада, зачем меня сверлить глазами?

– Не девушка, конечно, девушки у него каждый день меняются, но, может, он надумал жениться?

– Если и надумал, то не на мне! – сказала я, вставая. – И вообще мы случайно встретились.

– Зато как удачно!

Она кивнула на коробку, стоявшую на подоконнике рядом с моей сумкой, и я твердо решила не брать сапоги.

Но тут пришел Рад и насмешливо заметил сестре:

– Ещё за абхаза хочешь выйти замуж. А как себя ведешь? От такой вредной невестки родня мужа поседает раньше времени.

Боженка густо покраснела и совсем по-детски буркнула:

– Не поседает! Даже наполовину!

Мы с Радом переглянулись, и рассмеялись, и я не стала чиниться, когда он вложил коробку с сапогами в большой полиэтиленовый кулек – тоже немалую редкость по тем временам, – вышел проводить меня, кинув сестре: «Сегодня меня не жди!»

– До свидания, приходи ещё! – пожелала мне на прощание Боженка, которой непременно хотелось стать примерной абхазской невесткой.

Рад покачал головой и насмешливо хмыкнул. На улице он посадил меня в такси, заплатил водителю за мой проезд и ушел в неизвестном мне направлении. Я пожалела, что Боженки сейчас нет рядом, ведь сразу убедилась бы – её подозрения не имеют под собой почвы, о чем, правда, я в душе немножко сожалела.

После того, как Боженка месяца два выясняла у Смела, друга брата, этимологию его имени (я вообще заметила, вопрос: «а что означает твое имя?» отчего-то было популярным среди носителей общеизвестных славянских имен) он, по моим наблюдениям, и сам заинтересовался, но не происхождением имени девушки, а ею самой. Что же касалось собственно имени, он ничего вразумительного не мог сказать, пожимал плечами: «имя как имя», и всё. Но, похоже, Боженка не сомневалась: как корабль назовешь, так он и поплывет. И теперь приступила с расспросами ко мне. Я каждый раз сочиняла что-то новое и Боженка, разгадав мои шутки, махнула на меня рукой. И обратилась к высшему авторитету в своей жизни – Раду. Он же нашел простой выход, предложив называть Смела Героем, мол, небось, она десятки раз читала в книжках: «Этот парень смел». Ну, от смельчака до героя рукой подать.

Боженка доверчиво выслушала брата, но тут же спохватилась:

– Ты меня дуришь, да? Это в русских книгах можно прочесть, что кто-то – смел, а к абхазам разве это имеет отношение?

– Двойное! Смел и свободен, как... беркут... – Рад, очевидно, увлекся своими построениями и продолжил уже в стихах, дурашливо на меня поглядывая:

Шумный табор – журавлиный клин,
Только вместе выживает стая.
Но ты беркут,
Ты летишь один,
Никого с небес не окликай!

– Вот так он всегда меня запутывает! – пожаловалась мне Боженка. – Нет что бы правду сказать!

– Не обращай на него внимания! – сказала я. – Он сам беркут! Хищник! А Смел очень хороший парень, что бы его имя ни значило.

– Мирко – тоже! – насупилась Боженка.

Влюбленность влюбленностью, но насмешку – даже тень насмешки! – в адрес брата она ни от кого не потерпела бы. Похоже, Рад в своей дрессировке преуспел. Смел был старше не только меня, но и Рада, причем на целых пять лет – в юности такая разница представляется солидной. Правда, и он ещё учился в институте, авиационном, куда его приняли по направлению из Абхазии после армии и двух лет работы в аэропорту. Осваивал Смел премудрости инженера наземной службы, так что популярная в те времена песенка «Обнимая небо крепкими руками» была не про него. Смел был тонкокостный, молчаливый, но редкие его остроты запоминались, как и его открытый взгляд. На наши сборища и до того, как его заметила Боженка, он приходил один. А уж как девушка взяла его под прицел – тем более. Непосредственность Боженки ему нравилась. Её восторженные речи об Абхазии, мне кажет-

ся, нравились и того больше. Она ему, взрослому, словно возвращала его же родину безупречно совершенной, как воспринимается только в детстве все то, что мы любим. А любим же, что нам дают любить, как пирог с сыром или длинный деревянный дом на сваях где-то в глубинке. У каждого – свой ассортимент...

В общечитии меня атаковала Сталина, которая не меньше Божедарки жаждала развеять свои сомнения: ведь Рад произвел на неё неизгладимое впечатление. Я успокоила её, даже придумала, что мы и вправду состоим с парнем в дальнем родстве.

– Значит, ты не можешь на него глаз положить! – просияла Сталина. – Даже с дальними родственниками шуры-муры у вас под запретом, правда же?!

– Правда, правда, – напустила я важности. – Мы не относимся к не помнящим родства, – я, как сказали бы сейчас, политкорректно опустила конец известного выражения – «Иванам».

Впрочем, Сталину заботило совсем другое, и она принялась упрашивать, чтобы я обязательно взяла её с собой на очередную встречу земляков, раз Рад на том настаивал.

– А он настаивал? – удивилась я.

– Разве ты не слышала, что он меня пригласил?!

Пришлось мне пообещать поехать с ней на сбор землячества, хотя это не слишком приветствовалось. Если встреча своих, так своих. Причем тут посторонние? Правда, молодые люди часто приводили подружек другой национальности, и по тому, как они с ними держались, все понимали, серьёзные у них отношения или имеет место, по выражению того же Рада, «переходящее знамя». Надо сказать, в разгар банкетов, которые мы устраивали вскладчину, больше всего успехом пользовались именно «переходящие знамена». Ведь с ними было легко и просто, и назавтра разъяренные родственники не пришли бы в дом с угрозами: «Ославил девушку, позаботься восстановить её честь», то бишь – женись.

Сталина щеголяла в новых джинсах. То, что я не сразу обратила внимание на обнову, вызвало её недовольство. Она сказала, что штаны на ней – настоящие «Леви Страусс». Благодаря счастливому знакомству с Радомиром, она купила их задешево. Это вообще конфискат. На границе таможенники отбирают у контрабандистов товар, а потом продают советским трудящимся по низким ценам в специальных магазинах. Так вот у парня, к которому её направил Мирко, имеется доступ к такого рода магазинам. Оказывается, эти специализированные распределители конфискованных товаров располагаются чуть ли не у пограничных столбов. Не каждый может запросто поехать туда и отовариться, но если найти подходы к директорам, как находят некоторые, то можно приобрести много чего интересного по дешевке и продавать в Москве, конечно, подороже, чем на границе, но всё равно по доступным ценам.

Я подумала, что у Рада всё в порядке с воображением и зря он не пошел в журналистику, но, понятно, Сталину не стала разочаровывать, растолковывая, что её штаны через океан не переплывали ни законно, ни тайно. С того самого дня Сталина чуть ли не каждый вечер забегала ко мне на чаек и смотрела ожидающе. Очередная

же встреча землячества намечалась только на весну. Я не выдержала долгих чаепитий и рассказов о мире моды вперемежку с чтением стихов о любви, где девушки вяли, как цветы, и обнажали груди, чтобы подарить свое сердце Данко. Понятно, горьковский Данко распорядился своим органом слишком утилитарно и нуждался, теперь уже, бессердечный, в подпитке... Только я-то здесь была при чем? Не выдержала и позвонила Раду с просьбой разрешить дать Сталине его телефон. Пусть теперь он слушает, как Данко и его любимая, сплетя руки, как «Рабочий и колхозница» в скульптуре Мухиной, несут вместо серпа и молота два горящих сердца:

– Дай, конечно, – сказал он весело. – Надоест, Боженку бросим на амбразуру: мигом отвадит.

Но не успела я сменить подарок Радомира на весеннюю обувь, как разразилась гроза, роль молнии в которой сыграла Сталина.

Это случилось в воскресенье рано утром. В дверь забарабанили, когда мы с моей подругой и соседкой по комнате Ларисой ещё лежали в кроватях, лениво строя нехитрые планы на выходной день: пойдём в кино, пообедаем в вареничной на Цветном бульваре.

– Наверняка к тебе, – сказала Лариса, которой не хотелось вставать и самой открывать дверь.

Я соскочила на пол и повернула в дверях ключ. Тут же в комнату ворвалась, как маленький смерч, Боженка. Лицо её пылало.

– Мне нужно с тобой переговорить! – она сердито покосилась на Ларису, будто та была в чем-то виновата. – Наедине.

Лариса поднялась, накинула халатик, и, пожав плечами, пошла из комнаты. В дверях, оказавшись за спиной ранней нашей посетительницы, покрутила у виска пальцем, и непонятно было, относится ли этот жест, в популярном переложении на слова означавший «не все дома», только к Боженке или и ко мне тоже. Во всяком случае, и на меня она смотрела без всякого одобрения.

– Смел в больнице, Мирко замели! – выпалила Женька, как только мы остались одни.

– Он – в милиции?!

«Спекуляция!!! Наверное, всё-таки спекуляцией называется то, чем занимается Рад!» – смятенно подумала я. И ещё одно слово-пугало вертелось в голове – «фарцовщик», охотник за иностранной валютой. Судя по газетным статьям, фарцовщики считались хуже спекулянтов. Они как бы уже продавали родину, обменивая рубли с профилем Ильича на чужие деньги, тогда как спекулянты не выносили сор из избы – тихонько наживались на дефиците внутри страны.

– Где же ему ещё быть? Раз замели?!

– А Смел почему в больнице?

Насмотревшись к тому времени детективов, я на мгновение представила себе, как он бежал от милиции, отстреливаясь. И как полагалось, после третьего предупреждения, его метким выстрелом обездвигили, а теперь вот, наверное, лечили в больнице, чтобы здоровеньким предстал перед судом.

– В больнице да в безопасности! Не то что Рад! Покажи мне комнату Сталины. Сейчас она у меня походит по горячим углям!

Из её яростного изложения – все прилагательные в превосходных степенях, все существительные на грани фола на литературном поле – я составила себе картину случившегося. Вчера компания – Рад, Смел, Боженка и Сталина – обедали в кафе «Метелица» на Арбате. За соседним столом сидели ещё «ваши обходительные ребята без сестер и подруг». Почему-то в то время «Метелицу» облюбовали многие землячества из Закавказья. В кафе и в будни, и в выходные можно было встретить кого-то, кого позже стали именовать «лицами кавказской национальности». Двое ребят за соседним столом оказались знакомыми Рада. Они прислали бутылку шампанского ему – «в знак уважения», – пояснила на ходу Боженка, хотя уж об этом я сама догадалась бы. Ну, соответственно и Рад не сплеховал, тоже отправил пару бутылок на соседний стол. Официантка, между прочим, бывшая девушка Рада – сама она, наверное, считала, что по-прежнему настоящая, слишком долго задерживалась возле стола, и это совершенно не понравилось Сталине.

– А кому бы понравилось? – удивилась я.

– Не понравилось, так не понравилось, могла бы встать и уйти! – с горечью сказала Боженка. – Потом ведь легко смылась! Всех бросила и смылась!

Но поначалу Сталина решила, как я понимаю, расшевелить кампанию, попутно посрамив обслуживающий персонал своим свободным от мещанских условностей поведением – как-никак она была творческой личностью. Она поднялась на эстраду, где музыканты только налаживали свои инструменты, и в микрофон объявила, что сейчас прочитает стихи, которым позавидовал бы сам Евтушенко. Поскольку в те времена несанкционированные выступления приводили в дрожь администрацию любого уровня, последнюю строчку своего опуса что-то вроде «И ты – моей любви палач!» – ей пришлось выкрикнуть уже со ступенек эстрады. Сзади Сталину подталкивал один из музыкантов, а внизу подждал метрдотель. Пришлось Раду и Смелу вывозить её из плена, по пути, конечно, кое-какие суммы перекочевали в карман администратора. Сталина угомонилась ненадолго. Она выпила фужер вина и, так как музыка заиграла, объявила, что для неё это белый танец, встала, но пригласила не Рада и не Смела, на худой конец, а отправилась к соседнему столу, за которым сидели приятели Рада. Девушка стала их поочередно приглашать, но все они дружно отказались, сославшись, что не умеют танцевать. «Сама понимаешь, это тоже из уважения к Раду», – прокомментировала Боженка. Тогда Сталина подседа к другой компании за дальним столом. Некоторое время оттуда доносились взрывы смеха, и громче всех смеялась Сталина.

– Время уходить, – сказал Рад. – Пока соперница Евтушенко не натворила бед.

Но Сталина его опередила. Она что-то шепнула одному из парней, сидевшему возле неё, а с другим обменялась рукопожатиями через стол. «Я всё время смотрела на неё: третий парень разбил их руки, как разбивают, когда на что-то спорят!» – предъявила как улику свои наблюдения Боженка. После этого парень, возле которого устроилась Сталина – высокий крепыш, – направился к их столу и потянул Боженку за руку:

– Пойдем, старуха, разомнемся.

Она, само собой, отказалась идти танцевать. А Смел, по её словам, очень вежливо, даже слишком, сказал амбалу, что он ведет себя нехорошо.

– Что именно он в ответ услышал, я тебе не могу передать! – сказала Боженка.

И всё-таки не Рад с другом затеяли драку. Да, они вскочили на ноги, но первыми не пустили кулаки в ход. Именно амбал неожиданно хрястнул по голове Смела бутылкой из-под шампанского! Смел вырубился, да еще при падении, кажется, руку сломал.

Официантка, та, которая все ещё считала себя подружкой Рада, с помощью работников кафе из числа своих приятелей унесла пострадавшего в подсобное помещение, вызвала «скорую помощь». Смела забрали в больницу, а врачам объяснили, мол, он в кухне ресторана, куда зашел поприветствовать свою подругу, поскользнулся, упал, расшибся... поверили – не поверили – неважно, главное: ножевых или пулевых ранений не было, так и незачем милицию беспокоить.

– Сама понимаешь, после всего этот пёс не мог уйти припеваючи! – сказала Боженка воинственно. – Раз он был не один, пришлось и нашим ребятам поддерживать Рада.

– Но вы ведь были только вчетвером! – удивилась я.

– А те, за соседним столом, они что, чужие? – вспыхнула Боженка.

Честно говоря, я в ходе возбужденного её рассказа слегка подзабыла о знакомых Рада, которые случайно оказались за соседним столом. Я же не знала, что им пришлось принять участие в драке. Да они и сами, наверное, ничего похожего не ожидали, если хорошо были знакомы с Радом. Он и в школе свысока относился к мальчишеским потасовкам, хотя все знали, что пока он не переехал в наш районный центр, ходил там, за границей, в секцию самбо, находившуюся, правда, в гарнизонном Доме офицеров.

– Сталина тут же дала деру! – перечисляла пункты обвинения Боженка.

Из её рассказа я поняла, что с моей однокурсницей смылся и тот парень, с которым она пари заключила. Остальные продолжали горячо выяснять отношения, когда возник некто в форме – то ли охранник, то ли милиционер с улицы.

– Ух и надавал им всем Рад! – Боженка победно подняла вверх сжатые кулачки.

Она так гордилась братом, будто он послал на ринге в нокаут претендента на чемпионское звание. Между тем, когда появился милицейский наряд, все, кто мог, взяли ноги в руки. В отделение милиции попали только трое ребят, из которых лишь один был из компании зачинщиков, но он выпил лишнего и проспал самое интересное. Так что, хотя его и замели, его показания не имели никакого значения.

– Какой ужас! Рад запросто может загреметь в тюрьму и надолго, если он ещё и милиционера стукнул. Ты это понимаешь? Здесь показания десяти Сталин не помогут.

– Помогут – не помогут, но она у меня получит!

– А что это Раду даст?! – попыталась я до неё достучаться.

– Ничего! – вдруг совершенно трезвым спокойным голосом проговорила Боженка. – Рада родители выручат. Я им сообщила. Отец с дядей – тот у них полковник

милиции – уже летят сюда. Тетя Ангела тоже к ним прицепилась, хотя она здесь ничегошеньки не может! Ну, подзатыльников нам раздаст и всё!

– Да и отец с дядей вряд ли что-то смогут, Боженка. Там у нас с кем хочешь договорятся, а здесь... Ты не понимаешь!

– Нет, это ты не понимаешь! Думаешь, всё как в книгах?! Рыба гниет с головы! Жизни не знаешь!

Я ошеломленно смотрела на нее. Не скажу насчёт жизни, но такую Боженку я точно не знала.

– Пошли к змеюке!

Сталина оказалась одна в комнате. Её соседка куда-то умчалась спозаранок, а может, и вовсе не возвращалась с вечера. К радости Сталины, та на выходные всё куда-то уматывала. Правда, на этот раз она наверняка предпочла бы присутствие соседки, судя по тому, как при виде Боженки растерянно стала озираться по сторонам и быстро мне сказала: «Заходи, сядь вон туда!», указав на аккуратно застеленную кровать соседки по комнате.

Я послушно уселась. Боженка с нерастраченным пылом накинулась на Сталину, причем она винила её даже в том, что они пошли именно в «Метелицу».

– А я здесь с какого боку? – на все упреки стандартно отвечала Сталина и все ближе продвигалась ко мне, пока не запрыгнула на постель и не села сзади меня, выпалив: «Уйми эту городскую сумасшедшую!»

– Если завтра с утра пораньше не явишься к следователю и не скажешь, что смертельный удар нанес твой дружок, наши родители вывернут тебя наизнанку и повесят на солнышке сушиться.

– Смертельный удар? Кому?

Дрожащими пальцами Сталина вцепилась в моё плечо.

– Смелу! Кому же ещё? На него же ты натравила рецидивиста.

– Рецидивиста? – ахнула Сталина. – Я даже имени его не знаю. Ему просто мои стихи понравились! И почему «натравила»? Я только посоветовала человеку пригласить девушку на танец. Это преступление? Ты же сидела мышкой-норушкой, никто тебя не замечал. И этот твой хер, Смел, даже за руку тебя не держал!..

– Что-о?

Боженка ринулась на нас. Сталина откатилась к стене, а я поймала разбушевавшуюся обвинительницу в свои объятия.

– Ну перестань, что ты? – лепетала я, напуганная её яростью.

На миг мне показалось, что она всосала меня в темень своих глаз, как черная дыра, и я ощутила совсем близко, как бьется её сердце, точно птица, пойманная в силки.

– Ты слышала, что она сказала, ты слышала?

– Она ничего плохого не имела в виду!

Я и вправду считала так. Просто в новый кодекс отношений, осваиваемый Боженкой, не входили объятия с любимым в присутствии брата. Но откуда это было знать Сталине?

– Отпусти! – попросила меня Боженка.

Я разжала руки, и она отступила на шаг. А Сталина вновь придвинулась ко мне вплотную и влажно задышала в затылок.

– И долго там будешь отсиживаться? – дрожащим голосом спросила Боженка.

На меня она старалась не смотреть, но я догадывалась – осуждает из-за того, что не выступаю с ней единым фронтом. Даже создаю ей препятствия.

– Я ни при чем, правда...

– Ты это следователю расскажи! Пойдешь как соучастница! И попробуй только не явиться завтра с утра пораньше с чистосердечным признанием. Из-под земли достанем!

– Женечка, не сходи с ума! – попыталась я разрядить обстановку.

– И вправду, Женька, чего набрасываться на меня, аки тать в ночи? – почувствовав поддержку, ожила Сталина и попыталась пошутить в своем излюбленном стиле – фольклорно-поэтичном.

– Я тебе не Женька, а Боженка! – оборвала та и, уже обращаясь ко мне, добавила. – Не стой посередине, получишь с двух сторон. И проследи, чтобы завтра с утра твоя лучшая подруга была у следователя!

Боженка, уходя, так хлопнула дверью, что, кажется, это было слышно и на первом этаже, хотя мы жили на пятом.

– Что будет, что будет? – запричитала Сталина, вылезая из-за моей спины.

– Я, ты мне веришь, ничего такого не хотела. – Она спрыгнула на пол и встала передо мной. – Ну, выпила лишнего, может быть, развезло с непривычки... а мой парень больше смотрел на официантку, на обслугу, чем на меня. Сестрица и вовсе сидела, набрав в рот воды, даже за руку не держала своего молчуна. Посмотришь на неё – тише воды, ниже травы, а видишь, какие черти водятся в тихом омуте. Просто бешеная какая-то.

– Но человек пострадал! – напомнила я, не уточняя, до какой степени он пострадал.

Мне не понравилось, что лучшая моя подруга, как Боженка, прежде чем хлопнуть дверью, её назвала, перевела, как в ту пору говорили, стрелки на ту, которая не только не была ни в чем виновата, но и пыталась в меру своих сил расхлебать кашу, заваренную именно Сталиной.

– Пострадал! – упавшим голосом признала виновница переполоха. – Ещё как пострадал! Ужас какой!

Я оставила её ужасаться в одиночестве, вернулась к себе и поделилась новостью с Ларисой. Она тоже усомнилась, что близким Рада удастся его легко выручить: здесь всё-таки Москва, по-родственному никого не уговоришь, никто не войдет в твое положение. Да и в какое такое положение входить-то? Драка, избиение милиционера, как всё это можно объяснить? Тем более, если главный пострадавший якобы сам упал на кухне кафе и получил, что называется, бытовые травмы. И я подумала: Рад сильно осложнил свое положение, вылушив из дела Смела. Тем не менее, вылушил.

На следующее утро, только продрав глаза, я постучалась к Сталине. Открыла мне её соседка по комнате.

– Сталина уехала домой, на две недели, мама у неё заболела, срочно вызвали.
– А на самом деле?
– Так я тебя хотела расспросить, что стряслось-то? Сталина несла черт знает что, про «Козу Ностру», «Каморру»...

- И «Дона Карлеоне», – закончила я. – В неё влюбился итальянец.
- Правда? Где она его встретила? Ты его видела? Симпатичный?
- Аполлон Бельведерский по сравнению с ним рядовой студент!

Оставив соседку Сталины расцвечивать услышанное новыми домыслами, я ушла, удивляясь тому, как это Боженке удалось столько страху нагнать на Сталину. Или, как сказала бы сама беглянка, знала кошка, чье сало съела?

К указанному Боженкой отделению милиции я отправилась одна и у дверей увидела тоненькую фигуру сестры Рада в белом плаще, перехваченном на талии широким ремнем. На ногах у неё тоже были белые сапоги с узкими ажурными голенищами, что в ту пору считалось модным, во всяком случае, у нас. Завидев меня, она побежала навстречу и тяжелые, распущенные волосы струились за ней по ветру. «Белая лошадка с черной гривой – ошибка природы», – подумала я. Боженка шумно налетела на меня, улыбаясь во весь рот.

– Освободили! Освободили! Ещё вчера вечером! И его и тех, кто был с ним. И того, кто спал, как убитый, за столом. Всех-всех! Я приехала, чтобы ты здесь зря не топталась рядом с козой Сталиной. А где же она?

– Коза удрала в родной огород, – сказала ей в тон, понимая, что ликованию Боженки это теперь не помеха, да и потому, что именно всё так и было.

– Ну и пусть там попасется! Представляешь, даже дело не завели! И в институт, где учится Рад, телегу не отправят. Хотя он сказал, что это его не заботит, потому что летом будет поступать на юридический. Экономический ему опротивел! – сообщила Боженка восхищенно.

- Здорово, – сказала я несколько растерянно.

Честно говоря, я не ожидала такого стремительного поворота дела, такого безболезненного и быстрого решения вопроса, как в сказке: по щучьему велению, по моему хотению.

- Я знала, что все будет хорошо! – сияла Боженка

– Знала, – согласилась я и пристыжено подумала, что сестренка Рада, которую все воспринимали как бесплатное, хоть и занятное приложение к братцу и часто посмеивались над её восторженными попытками нашу же землю нам объяснить, оказалась куда более трезвомыслящей, чем мы.

– Дорого обошлось? – спросила я Рада, когда мы встретились в больнице у постели Смела, навестить которого меня потащила Боженка, считая, что пострадавший одобрит, если она придет его проведать не одна, а с подругой, к тому же его землячкой.

– Дорого! – вместо него ответила Боженка. – Но не дороже свободы! Так сказала тетя Ангела

– Не в том дело! – мрачно заметил Рад. – Главное – парню, который попал под горячую руку, ничего не перепало, всё его начальник огреб. Нехорошо!

– Нехорошо! – согласился с ним Смел.

– А тетя Ангела говорит: «Слава Богу, понятливый человек попался, навстречу пошел», – сказала Боженка.

– Не понятливый, а жадный! Своих же людей кидает!

– Тетя Ангела сказала...

– Хватит! Тетя твоя не Мао Цзэдун, незачем цитировать безостановочно.

– Не Мао, но твоя мама... – напомнила Боженка, правда, густо покраснев.

– Мао можешь не признавать, но не маму же! – сказал другу Смел, как бы в шутку, но и в поддержку Боженке.

Правда, это ничуть её не утешило. Она не хотела или полагала, что это не по-абхазски, искать поддержки против брата у кого бы то ни было, даже по пустячному вопросу, тем более, если Рад выглядел таким озабоченным, будто его не выручили из беды, а совсем даже наоборот.

Как я поняла позже, он так и считал. Его проблемой стал тот молоденький милиционер, кому в «Метелице» во время драки надавал тумачков. Не он один, конечно, надавал, но Рад коллективной ответственности не признавал.

Тем летом Рад держал экзамены на юридическом факультете и поступил. Ещё я узнала от Боженки, что вместе с ним на юрфак поступил некий молодой человек по имени Дмитрий, которому Рад собирался выплачивать определенную сумму денег, пока тот будет учиться. Без поддержки парень не мог себе позволить заниматься на стационаре. А заочное обучение – это так, для бумажки, не для дела, не сомневался Рад.

– Кто такой Дмитрий? – спросила я. – Тоже, как и Рад, решил бросить экономический?

Про себя же предположила: «наверное, один из сбытчиков его самопальной продукции решил юридически подковаться на всякий случай».

– Дмитрия Рад отметелил в «Метелице» – с усмешкой скаламбурила Боженка.

– Сколько ни остерегала тетя Ангела – «не трогай лихо, пока тихо», – он мента нашел и подружился с ним. Теперь вот они ещё и однокурсники.

– Ну и хорошо! – сказала я.

– Ничего хорошего никто в этом не видит! Если нянчиться с каждым, кто лезет под горячую руку, то можно обрасти со всех сторон прилипалами! Так и тетя Ангела считает! Но Рад никого же не слушает! – она быстро глянула на меня и поспешно добавила: – Я понимаю: послушай женщину и поступи наоборот. Но он и с отцом не посоветовался!

– «Он беркут, он летит один!» – напомнила я ей, слегка перефразировав, строчку из стихотворения, что любил читать нам Рад.

– Одно точно тебе скажу: никто Рада не брал на понт.

Кажется, её больше всего это волновало.

– Твой брат не из тех, кто даст себя шантажировать! – сказала я, и она просяла.

– Это просто его бзик, да?

– Твой брат, ты у него и спроси.

– Но ты же сама сказала: он не даст себя шантажировать. Значит, просто «бзик», да?

– Можешь и не сомневаться!

– Ты думаешь, все это понимают? – спросила она, не спуская с меня пристальных глаз.

– А по-твоему, все ломают головы над загадкой по имени Рад? – пошутила я, но она не улыбнулась в ответ.

Боженка опасалась, что кто-нибудь решит, будто её брат струсил, поддался на шантаж, чем и объясняется внезапная, щедро финансируемая дружба с милиционером. Это укладывалось в обычную схему. Вот что больше всего бесило Боженку. Она-то точно знала, что брата легче убить, чем запугать! Но знали ли об этом другие?! И почему это ничуть не заботило Рада? Или он притворялся, что не заботит?

Следующая выходка Рада и вовсе повергла Боженку в ступор. Уж слишком она не вязалась с представлениями о предпочтениях абхазского завидного жениха, соответствовать которым с самоотдачей неопитки не первый год пыталась Боженка.

Однажды осенью на одной из наших встреч земляков, скорее всего посвященной седьмому ноября – я ещё сомневалась идти на встречу или нет, потому что по дому и родному языку ещё не успела с лета соскучиться, – неожиданно появилась Тата, та самая, которая увела у меня в школьные годы роль Татьяны Лариной. С тех пор как я её не видела, она вроде стала выше ростом, или так показалось, потому что изрядно похудела и была пострижена коротко-коротко. В ту пору мы такую прическу, при которой можно было обойтись без расчески – намочила ладонь и пятерней провела по волосам, вот и вся укладка – называли «тифозной». Тата стояла в компании со знакомой нам студенткой истфака Ламарой и разговаривала с кем-то из гостей, чуть склонив набок свою стриженую голову на высокой шее. Её профиль с коротким носом и четкой линией подбородка у меня вызвал ассоциации с Нефертити – как её, конечно, изображали в ту пору на ложнодревних кувшинах и на флаконах арабских духов с одноименным названием.

Хоть походила она на Нефертити, но я по наезженной колее (ничто так не прилипчиво, как картинки из отрочества, особенно когда от того периода не слишком далеко удался) обратилась к стоявшему рядом со мной Раду, указав на неожиданную нашу гостью: «Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете. С послем испанским говорит»? Он с улыбкой глянул туда и вдруг окаменел лицом. Я почувствовала себя одной из рода Нартов, которые словом, точнее, проклятием, обращали людей в камень, и сама слегка накрахмалилась, не зная, как себя вести. Да и Боженка, которая, естественно, держалась близ своего брата, но не сильно отрываясь и от присутствовавшего здесь Смела, проследив за моим взглядом, придвинулась ещё ближе к Раду и тоже застыла.

Тата сама подошла вместе с Ламарой к нашему скульптурному ансамблю, расцеловалась со Смелом, а он назвал её своей красивой сестрой. Это вовсе не означало, что она его единоутробная родственница или двоюродная (как раз в этом случае он не стал бы прилюдно её расхваливать), скорее – седьмая вода на киселе, но, безусловно, родня.

– Вы не знакомы? – Смел недоуменно – что это с вами стряслось? – оглядел наши отчужденные лица. – Это Тата, моя...

– Твоя сестра, – первой вышла из оцепенения я, да и особо в него впасть у меня не было причин, просто поддалась общему настроению. – Конечно, знакомы! В одной школе учились! – и я обняла Тату.

– Ты изменилась! – сказала она вроде бы с одобрением, но тем самым лишила меня возможности – не попугайничать же! – сказать, что она тоже сильно переменялась – а в худшую или лучшую сторону, я ещё не могла понять.

– Тата обогнала нас! Она уже с высшим образованием, училась в Ленинграде, но, наверное, ещё скучает по студенческой жизни, вот и приехала на несколько дней ко мне погостить! – обстоятельно растолковала Ламара, переводя взгляд с меня на Смела.

На Боженку и её брата она старалась не глядеть.

– Не только по студенческой жизни соскучилась! – загадочно проговорила Тата и попыталась поймать взгляд Рада, но безуспешно.

Он по-прежнему каменел, но каким-то образом ухитрялся при этом ещё и создавать вокруг себя остро осязаемое ледяное поле. Мы со Смелом сдались первыми и, пробормотав чуть ли не одновременно, что нам надо поговорить с организаторами встречи, ретировались.

– Если Тата училась в Ленинграде, почему за это время ни разу не приезжала в Москву? – спросила я. – Ведь другие ребята приезжали.

– Она на первом курсе вышла замуж, на втором – родила, ей не до поездок было. Чтобы она учебу не бросила, мама её целый год просидела в Ленинграде с ребенком, квартиру снимали.

– А-а, я не знала, что она замужем!

Смел как-то странно глянул на меня и промолчал.

Зато Боженка, когда её чуть ли не за руку Ламара оттащила от Рада, молчать не стала. С пылающими щеками – ну просто подоженный пруттик! – она отвела меня в сторону и спросила, знала ли я о том, что ещё в школе Тата дала слово Раду стать его женой?

– Не знала! – открестилась я и формально была честна: мне никто ни о чем похожем не говорил.

Хотя, конечно, сидя в углу школьного актового зала во время репетиции сцен объяснений пушкинских Татьяны и Евгения, смутно чувствовала, что Рад был особенно убедителен не тогда, когда наставлял свысока на путь истинный молоденькую уездную простушку, а когда, задыхаясь от страсти, писал письмо даме Татьяне. Обмакивая петушиное перо в обычную чернильницу-непроливашку, Рад взволнованно озвучивал текст для зрителей: «Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами...» – и всё такое... Как же я отчаянно – теперь понимаю – завидовала тогда Тате. И потерянная роль здесь была ни при чем.

– А теперь приехала мурлыкать: «мур, мур»! – пылала негодованием Боженка.

– Она «другому отдана и будет век ему верна», – постаралась я успокоить её.

– Ага, значит, ты знаешь, что она была замужем?! И что за кубинцем – тоже знаешь? Тетка её, дура, всем говорила, что её племянница вышла за сына двоюродного брата Фиделя Кастро, смех да и только. Об этом тоже, наверное, слышала?

– Откуда мне все это знать, Боженка? – взмолилась я. – Мне только что Смел сказал, что она замужем, и всё!

– И всё? – Боженка недоверчиво смотрела на меня.

– Извини, но всякие новости почему-то доходят до меня в последнюю очередь. Я хотела сказать «сплетни», но в последний момент прикусила язык. Но и в таком виде фраза моя пришлась Боженке не по душе.

– Ты – эгоистка, да? Тебе на других людей наплевать, так? Потому их жизнью не интересуешься, да?

То, что и вправду новости такого рода я узнаю последней, я никогда не считала своим изъяном. Не из-за тугоухости со мной такое происходит, а потому что пересудами не интересуюсь, а это я себе ставила в зачет.

К формулировке Боженки я никак не была готова, потому неловко отшутилась:

– Только за это не убивай меня сегодня, у меня на завтра намечены кое-какие дела.

– Успеешь со своими делами. И нечего было бросать там его одного с ней, бессовестной.

– Ну не съест же она его, Боженка?

– Хуже! Она постарается задурить ему голову! – и презрительно выпятив нижнюю губу, передразнила: – «Не только по студенческой жизни соскучилась!» Зачем ему даже на время связываться с разведенной женщиной?


– Разведенной?

Настал мой черед удивиться – не успевала я одну информацию усвоить, как она уже оказывалась устаревшей.

– Могла бы и сама догадаться! Кубинец слинял! Заполучил в зубы диплом и слинял. Вернулся на остров Свободы. И тут кто-то вспомнил о ком-то! Запасной аэродром! Вот кто сейчас для неё Мирко! Но можешь не сомневаться! Он чужими объедками довольствоваться не станет!


Я, глядя на неё, вдруг отчетливо осознала насмешливое значение поговорки «святое папы римского». Боженка рассуждала так, как рассуждали в абхазской глубинке даже не мамы, во всяком случае, не все, но бабушки поголовно. Она по натуре своей, наверное, была отличницей – усвоить новый материал предпочитала только на пять с плюсом. Но в экстазе слияния с чужими традициями лучше притормаживать – своей всё равно не станешь, а себя потеряешь.

Рад очередной раз поступил по-своему – осенью женился на Тате. Боженка, обливаясь злыми слезами, уверяла меня, что никогда-никогда с его выбором не смирится и на свадьбу не пойдет, а если Смел пойдет, так она с ним знаться не будет. Но, конечно же, на свадьбу Боженка пошла, иначе нарушила бы другой важный постулат – своих всегда надо поддерживать, особенно если их поступки поставили вас в тупик. Другим надо растолковывать, что это единственно верное решение, базисом которого послужило истинное благородство. Смел и вовсе был шафером у Рада.




Я была приглашена на торжество, но поехать в Абхазию, где праздновалась свадьба, не смогла, так как сама недавно вышла замуж за чужака из Киева и, понятно, без одобрения родни. И в ту пору, еще не заслужив прощения родичей, оказалась «не въездной» в родимую сторону. Мое замужество не только родня в Абхазии, но и Боженка не одобрила:

– Что, в Абхазии не нашлось тебя достойного? – сердито спросила она (сколько раз я слышала потом этот укор!). – Всех бросила, ради одного, решила укатить в чужие края.




– Для тебя-то они не такие уж чужие, – попыталась я остудить её пыл, напомнив, что она сама из-под Одессы, то есть с Украины.

– Вот заболает мама, позовет, как ты до неё доберешься?



– Два часа лету, и я дома! – отмахнулась я беспечно.



Много позже я вспомнила Боженку, когда мы с сыном-студентом целый день проторчали на границе после грузино-абхазской войны. Абхазия отстояла свою свободу, и в связи с этим она находилась в блокаде, которая – мы тогда не знали – продлится долгие годы, но завершится признанием её независимости. В те дни мужчин на территорию Абхазии не пускали, и то, что для истосковавшихся по внуку, переживших войну моих стариков увидеть родную кровинку было счастьем, естественно, никем не учитывалось. Счастье вообще никогда не учитывается при составлении запретов. И вот тогда, наткнувшись на российской границе на барьер, я вдруг подумала, что Боженка была права. Границы между тобой и родиной – это как рубцы на сердце после инфаркта. Потратив определенную сумму и предприняв определенные шаги, мы, так или иначе, оказались на родной земле – израненной, но свободной. Как много мне предстояло узнать о судьбах близких, знакомых, дальних. Впрочем, в те дни всё отдавалось в сердце болью, будто происходило в одной семье, и вся Абхазия воспринималась как отчий двор. Обескровленный двор. Дня через четыре я шла по пустынной набережной. И это в разгар летнего сезона. В другие времена здесь невозможно было протолкнуться от гуляющей толпы, и густой запах кофе, который на каждом шагу варили на песке в мангалах, соперничал с запахом моря. Да и я вышла не прогуляться – шла к родичам, потерявшим в войну сына, посидеть с ними, поплакать и с дрожью думала о первых мгновениях встречи с матерью погибшего – моей тезкой, понимала, её боль примочками из слов не утишишь, но и от скорбного долга уклониться не смела. Брела я медленно, глядя себе под ноги, и Рада, шедшего мне навстречу с высоко поднятой головой, заметила только в двух шагах от себя. Он был по-прежнему поджарый, и твердые черты его лица, с юности удивлявшие четким абрисом, с годами не расплылись, только шевелюра, на первый взгляд по-прежнему густая, была совершенно белой. Впрочем, с учетом его возраста и седину нельзя было назвать ранней. Похоже, неуступчивый Рад и времени ни в чем не уступил. Мы обнялись.

– Пойдем, попьем кофейку, – предложил Рад и с едва заметной усмешкой ответил на мой невысказанный вопрос. – Ну, что-то должно оставаться неизменным! Несколько точек на набережной уже открыли, увидишь там, впереди.

Он повернулся и пошел рядом со мной.

– Как Тата? Как дети? – задала я обязательный вежливый вопрос.
– Она с девочками в Москве. Младшая в этом году будет поступать в университет, старшая на второй курс перешла. А Рауль здесь, со мной.

– Рауль?

Я не сразу поняла, что речь о его пасынке.

– Сын. Он был ранен при втором штурме Сухума. Но, слава Богу, выжил, хотя и не смог, как мечтал, первым оказаться в центре освобожденного города. Я тебе скажу, он прирожденный воин. Он у деда – отец мой в штабе состоял, – кто бы мог подумать, что военные навыки его ещё пригодятся, – все время требовал, чтобы его включали в группы, получавшие самые рискованные задания.

– Ты тоже воевал?

Он усмехнулся.

– По-твоему, я такая старая развалина, что могу только угли в очаге ворошить?

– Нет, что ты! – я покраснела, поняв, что мой вопрос прозвучал бестактно.

– Одного себе не могу простить. Представляешь, перед самой войной купил в Москве квартиру. Столько в неё денег угрохал, ужас! Когда у нас случилась беда, денег у меня всего на десяток автоматов хватило.

– Так тем августом ты был в Москве?!

– Ну да, и не один! Всей семьей новоселье справляли. Границы сразу же закрыли. Пришлось с другими земляками и добровольцами через перевал пробиваться. Как горные козлы по склонам скакали, когда здесь каждый час году ровнялся.

– И Рауль шел с тобой?

– Да нет, он не ездил с нами, оставался у моих родителей. Так он захотел. Дед быстро сориентировался, что к чему, и когда мы, наконец, добрались к своим, Рауль с дедовским охотничьим ружьем оборону держал в Эшерах. Увидел меня и сказал: «Ты – как быстроногий Ахилл! Я ждал тебя не раньше завтрашнего вечера».

Я поняла суть гордости, прозвучавшей в голосе Рада. Пасынок ни секунды не допустил мысли, что отчим воспользуется сложившимися обстоятельствами и осядет в Москве, посокрушавшись, как в детском стишке: «Серый волк под горой не пускает нас домой».

Мы добрались до небрежно сколоченного некрашеного ларька, возле которого стояло несколько разномастных столов и стульев. Но доносившийся из хлипкой постройки запах крепкого кофе, смолотого из только что прожаренных зерен, был прежним, довоенным.

Рад усадил меня за один из столов и подошел к ларьку, обменялся, как я поняла, рукопожатием с кофеваром, который с моего места не был виден, и обернулся, чтобы спросить:

– Тебе какой? Без, средний, сладкий?

Речь шла о том, добавлять в кофе сахар или нет, если да, то сколько.

– Без сахара, – сказала я.

Он принес две дымящиеся чашки кофе и уселся напротив меня.

– Извини, но ни шоколада, ни пирожного к ним нет.

– А я пью кофе без ничего.

Мы помолчали, потягивая горький напиток, а потом я сказала:

– Знаешь, проторчав день на границе – сына не впускали сюда, – я не раз вспомнила Боженку. Помнишь, как она меня упрекала, что не вышла замуж за кого-то из своих?! Как она?

И, Боже мой, вновь, точно так же, как тогда давным-давно на празднике землячества при виде Таты, лицо его окаменело. Я даже не представляла, что за долгие годы он сохранил в себе эту особенность мгновенно обособиться от окружающих, создать вокруг себя невидимое, но вполне осязаемое ледяное поле.

– Я только что приехала, я много чего ещё не знаю, – пробормотала я, понимая, что не в моих словах дело, и всё же чувствуя себя отчего-то виноватой; и неожиданно вспомнилось, как Боженка упрекала меня, мол, все новости узнаешь последней потому, что эгоистка.

– Она погибла! – сказал Рад глухо, глядя мимо меня так напряженно, что мне невольно захотелось обернуться, чтобы узнать, на что он там загляделся, хотя и догадывалась: того, что он сейчас видит, я не увижу. – Защищала дом с винтовкой мужа в руках. Пока прямой наводкой из танка не расстреляли её. Вместе с домом.

– А... – я не решалась спросить, что случилось с детьми и Смелом.

Но он и без слов понял меня.

– Сыновья... они же тогда школьниками были – один в девятом, другой в восьмом – гостили вместе с моей мамой у своей бабушки там у вас, на Украине. И Боженку ведь звали, но она ни в какую, мол, хозяин дома с работы придет и некому ему на стол еды поставить. Смел в тот день дежурил на работе. Когда стало очевидно, что земля покачнулась под нами среди ясного дня, – он поморщился, как от боли, – летчики перегнали два вертолета в Гудауту. В одном из них был и Смел. Когда я домой добрался, он в Эшерах уже отделением командовал. Рауль поначалу, кстати, при нем был, потом в другой отряд запросился, считал, что Смел его слишком бережет. Он всех берег, понимал, как нас мало. С шашками на танки бросаться – не только себя похоронить, но и свою землю. Не плачь, – сказал он, все так же глядя мимо меня.

И только тогда я осознала, что слезы давно бегут по моим щекам, не принося никакого облегчения.

– Как вы узнали, что случилось с Боженкой?

– От соседки гречанки. Она добралась лесами до Ткуарчала, а там, сама знаешь, горняки держали оборону, так вот вывезли её, как и других беженцев, на вертолете в Гудауту, потом она в госпитале работала медсестрой. Хорошая женщина. Она знает грузинский и пыталась спасти Боженку. Кричала нелюдям, что это дом болгарский, к абхазам не имеет отношения, может, что и выгорело бы... Зашли бы в дом, взяли бы что приглянулось, и поехали бы себе дальше к более богатым домам в Сухуме. Боженка сама, сама...

Тут я обратила внимание на то, что кофевар, высунувшись из ларька, делает мне какие-то знаки. Я вскочила и подбежала к окошечку. Кофевар – худющий мужчина лет сорока, тяжело опираясь на прилавок одной рукой, другой поставил передо мной чекушку с водкой и две выщербленные чашки для кофе.

– Помяните, – сказал он тихо.

Я дрожащей рукой полезла в карман жилетки – помнила, что там лежала двадцатидолларовая купюра, та, что осталась после «умасливания» пограничников, – и попыталась сунуть кофевару.

– Не надо, – сказал он. – Я же не для того...

Он попытался выпрямиться, покачнулся и опустился на стул у прилавка, и только тогда я заметила костыль, прислоненный к стулу, и поняла, почему он сам не вынес нам водку.

– Я знаю, что не для того, но, прошу вас, возьмите, пожалуйста.

Оставив на прилавке купюру, я схватила бутылку и чашки и вернулась к Раду, сказала:

– Помянем?

Он кивнул. Я разлила водку по чашкам, и мы выпили не чокаясь.

– Это я виноват в гибели Боженки! – сказал Рад.

– Ты?

– Задурил ей голову, связал её с Абхазией гибельным узлом. Жила бы себе под Одессой и сейчас бы радовалась жизни. На мне ни царапинки, а она...

Он посмотрел на чекушку, и я вновь разлила водку. Ему – полную чашку, а себе – на донышко. Вновь выпили не чокаясь.

– Соседка спасла бы её, если бы Боженка повела себя чуть иначе. А она: «Это дом абхаза! И в него незваные не войдут!» Закрылась там, засела с карабином Смела у окна. Двоих ранила. Ну а что было потом, я тебе уже рассказывал. Слово свое сестренка сдержала: они в дом не вошли.

Я зажмурилась, чтобы удержать слезы, и отчетливо, как в кадре кино, мне вспомнилось, как Боженка давным-давно бежала мне навстречу в белом плащике и белых сапожках от здания милиции одного из районов Москвы. И темные её волосы летели за ней. И она так радовалась, что с Радом всё обошлось.

– Напрасно винишь себя, у неё было достаточно времени, чтобы разобраться что к чему... Мифы в почву не вырастают... А Боженка была счастлива, сколько ей было опущено, столько и счастлива!

– Она любила тебя, – сказал он. – И, кажется, хотела, чтобы ты стала её невесткой.

– А как Смел? – перевела я разговор, неожиданно для самой себя смутившись.

– Увидишь – не узнаешь, тень от него осталась. Переехал сюда, в Сухум, отстраивать дом на пепелище не захотел, да и аэропорт ведь не действует. Он моторы чинит автомобильные и всякую бытовую технику. Голова у него светлая и руки золотые. Только вот здоровье...

– Ты работаешь?

– Угу, занимаюсь вопросами правового поля непризнанных республик.

– Послушай, раз у тебя квартира в Москве, так, наверное, и московская прописка есть. Ты же можешь поехать в Москву.

– Могу, в один конец, потом назад не впустят... Договориться, конечно, можно, ты сама убедилась... Но не хочется, будто агент иностранной разведки под прикрытием легенды пробираться на родную землю.

- Вся легенда – несколько полновесных зеленых банкнот, – сказала я.
 - И это особенно противно.
- Я разлила остатки водки.
- За павших! – произнес совсем тихо Рад.

И мы вновь не чокаясь выпили и поднялись. Он подошел к ларьку и перемолвился несколькими словами с кофеваром, потом проводил меня к дому, который мне был нужен. У подъезда мы попрощались. Он пошел от меня всегдашним своим легким шагом, прямо держа спину. А я смотрела вслед уходящей своей мирной молодости и вспоминала то, что сказала Боженка, а соседка-гречанка запомнила: «Это дом абхаза. И в него незваные не войдут!»



ТОЧЬ-В-ТОЧЬ ДАНЫ НАМ ИМЕНА*Анна СТРЕМИНСКАЯ********

Тихий, сухой, пролистая я день, как том.
Сказаны были серебряные слова...
День растворился в молчании золотом,
только лишь ветер был слышен едва-едва.

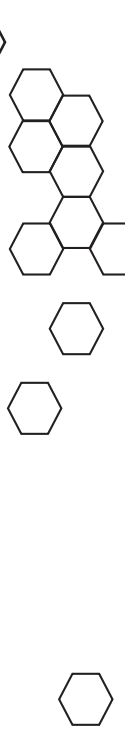
Сотни желтеющих писем неслись, спеша,
все к своим адресатам, в свои углы.
И на каждом следы от небесного карандаша.
И видны были: почерк Бога, печать золы.


Хочет всегда говорить природа, ее слова –
нервные жесты глухонемых, что узрим везде.
Я – переводчик, полна моя голова
слов и транскрипций, понятных воде, звезде.

Тихий, сухой, золотистый струился день –
будто бы день Египта, где правит Ра.
Игры свои затевала с утра светотень...
Что же важней, чем божественная игра?

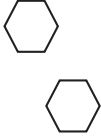
Все в равновесии было: земля и тишь –
словно незримо качались, скрипя, весы.
Не было ритмов, и мерили время лишь
то ли песочные, то ли солнечные часы.

И все ж приходит ночь
и глаз Луны глядит
по-рыбьи, стон «Невмочь!»
дерев-кариатид.
Моллюски звезд лежат
на круглом, сонном дне.
Все просто, как душа,
когда искуса нет.
Не спи, душа, проснись!
Устроены хитро
и виноградный лист,
и голубя перо.






Но все же если ночь
нам как покров дана,
нужны мы и точь-в-точь
даны нам имена!



«Мир – это театр», – сказал поэт,
но мир не театр, а тир!
Откуда бархат и мягкий свет?
Есть только мишеней пир.

Пируют мишени, земных сладостей
спеша наестся скорей.
Мишени из царства больших мышей,
из царства ручных зверей.



И каждая быть боится одной,
спешит к подобной себе.
Но нет ковчега, где праведный Ной
доверился Божьей судьбе.

Вот вместо ковчега «Титаник» плывет,
а вот самолетик летит.
Вот поезд метро машинист ведет,
в котором едет шахид.

И чей-то очень пристальный взгляд
нацелен...И чья-то тень...
Тебе повезло? Не попали в тебя?
Иди в театр, мишень!

Капли дождя на папирусах высохших листьев,
в каплях мира отражаются ярко и рвано.
Всюду костры – в них сгорают легчайшие жизни.
Дымная и хризантемная нынче нирвана...

Вечер, трамвай, психбольница, фонарь и аптека –
всё в этой части вселенной для счастья на месте.
За освещённым окном – силуэт человека.
Я же всё мимо – с листвою мне падают вести.

Не научилась я жить, и всегда я была такою,
что важнее всего была осень с её дыханьем.
И для меня мешок с опавшей листвою –
всё равно, что наволочка Хлебникова со стихами.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Я родилась в день весеннего равноденствия,
когда все равно, равновелико, уравновешенно.
В этот день бывает солнце и ветер,
бывает дождь и серое небо.
В этот день телефон звонит не переставая,
и это меня радует.
В этот день придумали чудный праздник –
Всемирный день поэзии.
Я до сих пор думаю: это знак судьбы
или ее насмешка?
Еще это день Навруза,
начала сезона роста и процветания,
то есть первый день иранского календаря.
По-персидски день Ормазд, месяца Фарвардин.
Также 21 марта – это Всемирный день сна.
Не зря я чувствую, что живу как во сне
и все кругом – сновиденье.
Еще это день актера – кукловода.
Возможно, я тоже кукла, которую водит
мною непознанный Бог.
Я Его не видала, но всей кожей его ощущаю.
И, наконец, совсем недавно узнала,
что это День человека с синдромом дауна.
Наверное, такие люди – немного поэты,
и все поэты – немного с этим синдромом.
Да здравствует содружество поэтов и даунов!
Поэтов и сновидений!
Поэтов и кукловодов!
Поэтов и весеннего равноденствия!



КИНБУРНСКАЯ КОСА

Я иду по степи, и не помню, откуда и кто я,
Но она меня видит насквозь и все знает она.
Тыщи глаз притаились меж трав и ветками хвои,
Тыщи звезд утонули в озерах, и смотрят со дна.

Я не знаю, куда я иду мимо призрачных сосен,
Но ведет меня степь, как ребенка счастливая мать.
И приду ли я в дом, иль в холодную мокрую осень,
Степь меня защитит и уложит в тиши отдыхать.

Путь мой с Млечным путем совпадает, покуда возможно.
Молоком от небесных коров я упьюсь допьяна.
Растворюсь и исчезну во всей я вселенной тревожной,
А потом оживу в придорожных пучках бурьяна!

Памяти моей бабушки А. Н. Романовской

...И море иное прольётся над лодкой земною,
и втянет воронкой единственного пассажира.
Да выбросит так далеко, что молитва служила
о новопреставленной Анне лишь нитью связною.
И Анна оставит свои упования, надежды
и мысли нехитрые старой одеждою бросит
ненужною. Жизнь остаётся размеренной, прежней.
Отсутствие материально, как проседь.

А в венах у этого города Чёрное море
пульсирует, бьётся, смеётся, Слободку качает,
чтоб Анна уснула спокойно, и грозди чтоб вскоре
морскою водой налились и восторгами чаек,
чтоб не было в жизни уныния. Бога любила
покойная, песни любила (земля пусть ей пухом).
О том, что шаланды кефали полны, в забыты говорила.
Кефали полны серебристой от речи до слуха...

Ю. Островершенко

Что-то иное всегда ощущается нами
в зале притихшем, в толпе ли и в дел карусели.
Где-то запахнет осенними резко цветами,
дымом запахнет горчайшим – и вот мы у цели.
Вот мы у выхода – небо оттенков агата
там, где иное, как дым над землей, без предела.
Медленный вечер нальет нам в стаканы заката,
там, где другим никакого до нас уже дела.

Что-то иное я вижу в тебе полупьяном
и сквернословие – твои небеса и деревья.
И одинокие лодки, что скрыты бурьяном,
и одинокого ливня слепое кочевье...





Валерий ЮХИМОВ

ПРОДУКТ ЯЗЫКА

где пращур пещерный жирафа чертил утонченно
рубил по камню в окрестностях чада,
чтоб каменной лодкой отплыть со своим зоосадам –
ты спишь и не слышишь, вода прибывает. под черной

завесой чачвана над черной водой, в промежутке,
костра проступало мазком светотени на стенах
письмо и сплетаясь с корнями растений,
казалось арабскою вязью, когда бы не жуткий

славянский акцент в синодальном прочтении касры.
ты спишь и не слышишь, вода подступает в тумане,
по сходням торопятся львы – не москва ли за нами,
и smoke on the water три раза взрезается красным.

вода прибывает, и дождь расцветает над молотом
эзоповой фразой, и взгляд карантина в наркозе,
как дождь, близорук, и надрывно кричит пароходик –
ты спишь и не слышишь, и кофе паршиво помолот.

НАД И ВНУТРИ

...над ним луна собакой воет,
нору кротовью с кровью роет,
роятся звезды злобным роем
и речка подо льдом шумит.

всего лишь комок биомассы,
наросшей на хилых костях,
что выполз на берег талассы
и там засиделся в гостях
отмеренный датами прочерк
с короткою тенью на юг,
неотличимый от прочих
тире и дефисов вокруг.

продукт языка, воплощенный
цепочкой обрывистых слов,
к нему возвращается черным
штрихом, как в щеколду засов,
как лязгает в раме затворной
серифом засечковый шрифт –
сизифа коринфского ордер
и старого замка лафит.

что камень заталкивать в гору,
что воду таскать в решете
учения анаксагора
о первопричинной тщете –
пустое, как множество смыслов,
как чаша, которая на
другой стороне коромысла
уравновесит меня.

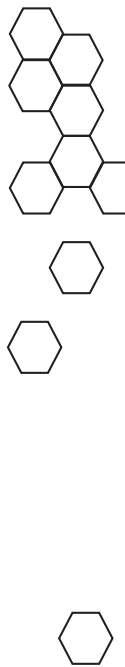
в этом языке было лишь прошедшее время.
без планов продаж, прогноза погоды и любви до гроба.
в особенности с последним, карандаш выпадает из рук и молчат оба.
и вчерашний счет вывешивается в гареме.

с настоящим временем тоже были проблемы.
впрочем, какие проблемы с отсутствующим временем.
да и слова такого не было, все деяния и намерения
были фактом, исключаящим пролегомены.

процветали хронисты. к гадалкам куда податься.
руководили контекст и врожденное чувство слова.
если ей говорили, что, дескать, прекрасна снова,
она понимала, что, значит, пора отдаться.

жизнь была простой, так как сбудется только то, что было.
как цыплята осенью, как «гоп!» после прыжка –
парашют всегда открывался, а если нет – то не прыгай, пока
не стало им счастье, вырубленное в камне зубилом.

и от счастья такого горбясь в настоящем и будущем временах,
сослагательно распирала гордость подвздошье
и перфектно снашивались к сроку подошвы,
и судом грозился монах.





душные ночи июльской кабирии,
(нет, не читал федерико кибирова),
дикого лоха серебряный звон
дышит полынью, до самой киммерии
берег полог, словно пляж ланжерон.

да, ланжерон – пограничный прожектор
шарит песок как кишечник прожектор,
выше по склону подняться в кусты –
шарят менты (затаился ли лектер) –
вязкого воздуха листья густы

и не услышать глотков ркацители,
так тягуче и долго в обнимку сидели,
а струя из бутылки тягуче и долго текла,
пока время не вышло, что волны успели
обкатать нас, как мутный осколок стекла.

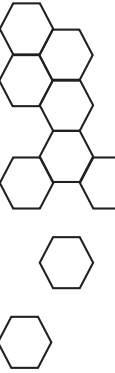
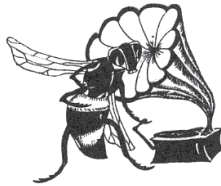
снова взошел ступенями дней белого солнца профиль,
знаку согласно раздвинула бедра грузная кинеретта –
хоть бы какой-то петр сеть на нее набросил,
хоть бы покрыло ниву облако интернета.

белой тоской туман полосой скрывает ее изъяны,
один африканский рог стоит дневной молитвы,
сколько в нее входило струями иордана
и вытекало при каждодневной микве.

ложе ее просело так, что, если смогло бы, море
своим языком, соленым как сельдь, ее ласкало,
кто из проезжих прославил тебя на заборе,
сколько монет с тебя мытари не взыскали?

кто проходил покровом твоим, словно сушей,
плату исправно справляя, оставляя монету подружкам,
капернаумским – им лишь околачивать груши,
солнце садится и следом уходит наружка.

в накинутом тюле в окне голосила ущербная,
словно признала жильца в воскресенье вербное,
ночь на излете дорожкой по водам затихшим
водит иглой затупившейся слишком
в правописании, шорох и плеск – откровение книги морфея,
море приходит за податью, нам оставляя морфемы,
словно расписки, на мокром песке в воскресенье.
тюлевый занавес тронул сквозняк светотенью.





Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

ТРИ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ КОТА ПЛАТОНА

ПЫХ

Сначала он выскочил из леса и орал как положено. Тощий, драный, расцветкой на жужелку похожий. Жрал все, от сырого лука в маринаде под шашлык – до польской сметанки, в которую влез всеми лапами сразу.

Поверив в привалившее счастье, что он нашел тех самых, кто не оставит, в этом диком Вологодском лесу, где до ближайшей избы сорок километров, подошел, внимательно посмотрел в глаза и сказал: «Пых!»

С этого момента он никогда не повышал голос, перестал разговаривать как положено представителям его рода, периодически произнося свое философическое «пых», за что и назван был Платоном.

Платон серьезный двухгодовалый кот с белой стрелой на лбу, три ноги в перчатках – четвертая в валенке, белизны необычайной. А на груди у него такой же великолепной белизны ангел небесный с головой, упирающейся в подбородок. Голова же и уши – ярко-черные. А усы...

О, эти огромные, чуткие, подвижные, бело-огненные – прямо дымящиеся вокруг него усы! И брови! Словно облако вокруг головы.

Смотреть без недоумения на Платона не получалось. Интеллигентность его вышибала почву из-под ног. И всякий раз, произнося «животное» или «кот», я испытывала чувство стыда. Как-то не касались Платона эти определения.

Когда ему хотелось поговорить, обычно это происходило перед рассветом, раздавался определенный набор звуков – очень определенный, всегда один и тот же. Мелодичный – словно тихонько стеклянные колокольчики звякали сквозь серебро мурлыкания.

И если я не реагировала или реагировала не так, как ему хотелось, задерживаясь с ответом, потому что сон был в разгаре, где-нибудь в полтретьего-полчетвертого утра, он садился возле подушки.

Чувствуя его бесстрастный взгляд, я внутренне сопротивлялась, не отзывалась. И тогда он вежливо трогал меня за голову лапой. Когти выпускал с четвертого раза, не больно проводя по волосам, как бы причесывая. После этого отмалчиваться было уже невежливо. И мы беседовали.

Он мог укусить, общаясь, он вообще был диковатый зверь. Но голоса не повышал. А вчера я обнаружила, что в нем есть беличье. Во-первых, он перетекал по плоскости, не как беличья шкурка, распластанная полетом, а как белка в прыжке, наполненная движением, из самой себя происходящим. Сверкая бурой подпушкой глянцево-черной долгой шерсти, Платон взлетал по плоскости шкафа вверх, переливаясь внутри себя, как живая ртуть. И исчезал, недостижимый, замирая там, наверху.

Я влезла на стул и увидела, что он вглядывается в птицу, сидящую на березе, вдумчиво повторяя свое «пых».

...Катя сидела на полу. Они смотрели друг на друга, шло активное общение. Платон сказал ей свое «пых». Катя ответила – пых. Платон промолчал. Катя, наклонившись к его лицу, сказала «пых-пых».

Слегка помедлив, Платон отозвался, дважды пыхнув. И тогда, рассмеявшись, Катя сказала громко и весело: «Пых-пых, Платон!» А Платон поднял лапу, замахнулся раз, второй... и припечатал Катину щеку.

У меня шерсть дыбом поднялась от такой картинки. И я спросила: «Катя, а когти он выпустил?»

– Нет, – потрясенно прошептала Катя. – Он интеллигентно, без когтей вмазал.

Платон повернулся к нам и, подняв хвост трубой, вышел на балкон, закрыв за собой дверь.

– Фига себе! – сказал Сережа, также пронаблюдавший результаты общения. – Таки Платон. – И задумчиво: – Очень много шерсти. Как на медведе.

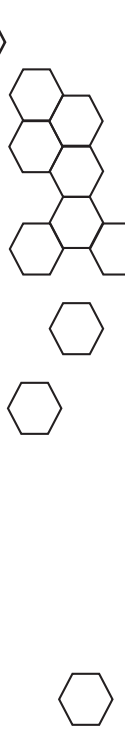
В этот вечер свое «пых» Платон больше не произносил, был задумчив, даже отрешен. А утром стало понятно, что он переживал. Потому что он ел, ел и ел. Как любой нормальный человек, которого задели, и ему не удалось справиться со своей обидой.

Мы стали ждать, когда же Платон снизойдет к нам со своего балконного поднебесья и скажет философически «пых». Дело уже к вечеру, а пыха все еще не было.

Поэтому я нервически весь день мою его тарелку, подкладывая новые и новые порции «Китекета». Он открывает лапой окно на кухне, проходит к тарелке, мрачно съедает и так же мрачно уходит назад, на балкон, на шкаф. Молча.

Ни тебе привета, ни тебе спасибо. Хочется подойти к нему и сказать «пых», но страшно обидеть. Я же не знаю, что обозначает это замечательное слово, произносимое на глубоком выдохе проникновенно и поучительно.

– Пых!



ПЛАТОН И ПАСКАЛЬ

Джабару Абдулаеву

Водитель, беженец из Узбекистана, – с рисованным профилем, чудными миндалевидными глазами с хитринкой, – говорил, по-московски акая:

– Садимся ужинать обязательно вместе. Мы почему-то стесняемся ужинать без него. Но ест он очень быстро, и когда время приходит пить чай, у него уже проблемная фаза. И этот аромат... вечно чай пьем не так, как нам хотелось бы. Но он такой белый и пушистый, что всякий раз, садясь за стол, стесняемся не пригласить, забывая, как быстро он жрет, сволочь.

Я спросила водителя, давно ли он в Москве.

– Восьмой год. А вот мама только приехала. Никак прижиться не может. И русский плохо знает. Но кот ее понимает. Они вообще быстро поладили.

Теперь у нас за чаем проблемы иного качества. Мама делит его порцию на две части – и возникает необходимая для чаепития пауза. Это позволяет отодвинуть тот самый «приятный» момент, когда кот начинает загребать, стуча когтями так, что всякий раз думаю: стригут же собакам когти, а котам?..

При маме мы пьем чай в теплой, дружной компании, и чай пахнет бергамотом, а не обормотом. Ну, а когда чашки мыть начинаем, тогда уж все... как обычно.

Сволочь его перестали. Ох, и не любит он, когда – сволочью! Запомнил и не простил, и чай для него всегда повод к вредительству. Ну, тогда мы и ругаемся. А он, как услышит, уходит за торшер обижаться. Я ему говорю, прячься где-нибудь в другом месте. Но он очень глупый.

С мамой – дружит. И понимает только ее. А она-то с ним по-узбекски разговаривает... Я раскусил, в чем дело. Интонации важны. Все дело в интонациях. А мама слова этого ругательного по-русски не знает.

Надир все рассказывал о том, как жили под Ташкентом, и там тоже был кот, и собака, и две козы.

Язык Надира, точный и озорной, удивил меня. Спросила, откуда русский выучил так.

– Как, – сощурился, – я ж в нашем Союзе учился, на философском. Преподавали на русском, как везде, да и жили мы на русском, – поправился, – по-русски. И коз наших величали Дашкой да Машкой.

И вдруг резко:

– Я почти защитился. Но – бежал. Когда резня началась.

...Ехала я грустная, и не просто ехала в этой мало приспособленной к «бомбежке» машине, – столько в ней было хлама всякого доброго – книжка, кукла, газеты..., – а возвращалась, оставив друга своего Платона на временное проживание в доме друга своего Катерины. Но расстаться с Платоном предстояло надолго.

Катя успокаивала:

– Да когда он тебя выбирал, я рядом стояла. Он ко мне привычен, поладим.

...Еду, вспоминаю, как Платон отреагировал на главную хозяйку дома, спание-ля Леську, взлетев на тумбочку, с грохотом скинув цветочный горшок. Как устраиваясь, перепуганно подобрал под себя лапы. Утробно зарычал.

Зверское урчание было таким глубоким и низким, вибрация – так устрашающа, что удивленная Леся перестала улыбаться, ошарашенно уставившись на Платона.

Платон был зол, зол, зол. Я – в перепуге. Потому долго не уезжала, ждала – и дождалась. Он вынул из-под себя лапы, перестал чрево вещать и сказал внятно – ну, в общем, иди... раз тебе так надо. Иди... – пых-пых-пых.

Грустно смотрю на интеллигентный профиль Надира, слушаю о его белом и пушистом, но глупом. Невежливо говорю:

– А мой Платон умница. Философ, – и осекаюсь.

Надир смеется:

– Не смущайтесь, теперь я философствую, лишь когда бомблю. Остальное время отсыпаюсь. Слишком часто бомбить приходится.

А белый действительно глуп. Так и не научил его прятаться. Да и с кошачьим домиком проблема – гадить предпочитает специально, наверное, когда мы чаевничаем. И орет дурным голосом.

– Как зовут вашего глупого?

Хмыкнул:

– Паскалем.

ВРЕМЯ СУНОК

Платон не спускал с меня взгляда. Я проснулась оттого, что два золотистых солнца прожгли мой сон насквозь. Надев очки, поверх стекол посмотрела в упор. Платон зажмурил глаза, а я забегала по комнате в поисках блокнота. Не написав ни слова, легла и отключилась внезапно, так же, как проснулась, – и опять почувствовала взгляд. Пришлось раскрыть блокнот. Текст пошел сразу, но на второй странице Платон стал подбивать локоть. Текст застопорился. Я поняла, что Платон возражает, но часть истории уже была записана...

Сюда просыпаться не любила. Это было опасное место. Мне приходилось долго сидеть на перекрестке улиц города, похожего на Барселону, но не Барселоны... До тех пор, пока не приходил Костриди с вечной фразочкой. Произносил он ее с ухмылкой, и я не выносила этого:

– Опять вяпалась? И опять не отследила сбой кода?..

Ко брал меня за руку и вел в ближайшую кафешку, заказывал пиво, а я уходила в дамскую комнату. В кармане рабочего хитона всегда лежал коробок, из которого вытаскивалась паутинка скорой помощи. Заменяв хитон на голубую тунику из тончайшего шелка, в каких ходили местные, шла к Костриди. Мы обсуждали, как вернуть меня в лабиринт Альмаира, где предстояло разгадать тайну повторяющейся фразы: «Профессор, я всегда вспоминаю три желтых позвонка».

У Костриды проблем с возвращением не было. Его не клинило, и резьбу не срывало – он никогда не сбивал код. А со мной что-то было не так. С этим предстояло разобраться. И вдруг Ко спросил:

– А что Платон? Ты продолжаешь свиданничать с ним?

Я отвернулась.

– Думаю, дело в Платоне. То есть в тебе, – поправился Ко. – Отключись, пожалуйста, не отзывайся и не корректируй. Ты должна быть здесь безвылазно. Не устраивай пробои времени и месту.

– А то ты вынужден будешь вставить в отчет лирическое отступление обо мне и Платоне? Ты знаешь, для кого пишешь отчеты?

– Нет, – спокойно ответил. – Не имеет значения. Имеет значение только одно: есть ли о чем, и пишу ли я их...

В Альмаире, на высоком берегу Днери, я жила жизнью странной. Были дни, когда, глядя вниз, на город, видела Помилура, тренирующего своих дьяри. Дьяри на огромных драконьих лапах гонялись за его синей тенью, сами сине-зеленые, хлопая клювами так, что я отвлекалась от своего дела. В это время я обычно сидела на теплом ракушняковом полу пещеры и двигала взглядом, слева направо – и наоборот, магнитофон, иногда пытаюсь его поворачивать. Поворот вызывал особенные затруднения. Не хватало выдоха. Обычно это было предзакатное время, золотившее все вокруг утомленными за день жара лучами: горы, крыши города внизу, зеленые острова парков, ровное кольцо реки, обрамляющее город-остров... Солнце здесь бывало высоким и безжалостным, но к четырем часам сдавалось.

А то, бывало, доносились голоса из лабиринта. Я шла на них; неуловимые, они звучали глухо. Вот и теперь: «Профессор, я всегда вспоминаю три желтых позвонка»... И тишина. Голоса за очередным поворотом затихали. Никогда не удавалось настичь их. Думаю: из какого тысячелетия прорывались они ко мне?

Пещера, в которой я жила, как бы половинкой яичной скорлупы накрывала меня, и в этом домике я чувствовала себя комфортно. На скошенном полу, как бы стекающем к выходу, кроме пролвинировой подстилки и магнитофона у скошенной стены, стояли таз нефритовый, большой и тяжелый, лукавой овальной формы, и высокий пластиковый кувшин. Проблем с водой у меня никогда не было – выливала из кувшина в таз, мылась, а потом нефрит оказывался пустым и сухим, а кувшин полным водой студеной, сине-зеленой и прозрачной, и так всякий раз. Я уже не заморачивалась думать об этом. Рюкзак лежал у выхода из пещеры, у более низкого среза «яйца» – всегда самоосвещенного тем предвечерним, как бы волшебным светом, какой наблюдала в Летнем саду Петербурга и здесь, когда солнце опускалось за Кирозямой, далеко внизу отсветы его со дна процессора (над установкой его долго колдовал Костриды) фокусировались в моей пещере Джормидогери...

По винтовой дороге из города поднимался Костриды, близилось время нашего общего планового времени, «нашей совместности», – шутил, как обычно, Ко. Он вошел и хвастливо сказал:

– Видишь, вот, купил на ярмарке.

Я фыркнула: на обгоревшем торсе, могучем и всегда смущавшем белизной, а сегодня красном от возмущения солнцем, болталась черная со спины майка, серая спереди, в мелких цветах.

– Ко, это женская майка, ты все время покупаешь женские майки.

Ко удивился. Поправил бандану – она тоже была в тон майке, графитовая с мелкими белыми цветами арукар.

– Наверное, у меня женская сущность...

Но я перебила, не дослушав:

– У меня получилось, Ко! Смотри внимательно. Я покажу.

И я сосредоточилась взглядом на том месте, где только что стоял магнитофон. Но его там уже не было. Ко стибрил его и, ухмыляясь, ждал, чтобы я начала возню. И мы ткнулись друг в друга, но Ко отпрянул, протянув маг:

– Давай, показывай!

– А по-моему, не до того. Тебя кефиром надо смазать, – поняла я, почему он вдруг отпрянул. – Больно?

В этот момент мы узнали, что уже не одни. Ко тоже услышал сначала покашливание и: «Профессор, я всегда помню эти три желтых позвонка»... И мы побежали на голоса.

Шли девятые сутки нашего внедрения во времена сунок.

...А когда я просыпалась на площади и прямо из моей пещеры выходила на угол улиц Берди и Крига, я знала: начались непредвиденности, сбой кода. Но проходившие мимо не обращали на меня внимания. За спиной я ощущала лабиринт, а вернуться в него не могла. Мне иногда подавали. Я не любила сюда просыпаться, это было опасное место.

Вот и в этот раз. Я просто сидела и ждала, когда Костриды отследит, появится и уведет меня отсюда. И Ко появился. Но в этот момент я увидела на тротуаре кота. Костриды тоже его увидел и сказал:

– Доигралась! Что делать будем?

– Это не Платон, – сказала я.

– Вижу! Не хватало еще Платона здесь.

– Ну, так зачем же что-то делать?

– Чтобы в следующий раз ты не приперла сюда Платона! Ты подумала о хозяйке этого? Где ей его искать?

– Вернуть не сможем?

– Нет. И, кроме того, ты хоть одного кота в Альмаире видела? Это первый кот в этом мире.

И мы забрали этого пришельца с собой в Джормидогери. Но до этого предстояла обычная процедура внедрения меня в лабиринт через кафе. Как пронести туда с собой кота?

Ко вытащил из кармана коробок, из него – рюкзак, и бедный кот оказался котом в мешке. А дальше было новое утро, и я правильно проснулась в новом дне в пещере лабиринта высоко над городом Альмаир времени сунок.

В этом дне мы с Ко решили настичь голоса.

– Ты сначала вызови их, сконцентрируйся, – проворчал Ко.

Я концентрировалась, но этот кот... Он все время мурлыкал, терся, ему жутко нравилась и пещера, и пролвинир, который он драл когтями, но больше ему нравилось убежать в лабиринт, и приходилось его отлавливать. Он опять удрал сегодня в самый неподходящий момент, когда уже почти получилось. Только нам пришлось прерваться и идти не на голоса, а на поиски кота.

И мы дошли... этот странный кот и привел нас к трем желтым позвонкам. Они лежали прямо под ногами, фосфоресцируя в мягкой темноте рукава лабиринта, достаточно далекого от пещеры и на большой глубине. Кот сидел рядом и замороженно на них смотрел. Через некоторое время оказалось: мы так же, как и он, сидим, и так же замороженно смотрим. И Ко произнес:

– Так вот почему голос все время помнит про три желтых позвонка! Невозможно взгляда отвести... Как же им удалось уйти от позвонков? Куда они ушли? Когда? И кто они?

– Думаю, мы никогда не узнаем об этом, – ответила. – Мы не сможем оторвать взгляда и задниц. Может быть, это были мы сами?..

– Не думаю, что надо так думать, – почему-то прошептал Ко. – Мы не могли бы слышать самих себя, и потом – я не профессор. Ты тоже. Смотри!

Кот, как бы охотясь, подкрался к позвонкам ближе – и вдруг начал скрести.

– Он закапывает их? – спросила.

– Нет, он откапывает!

Неожиданно почва как бы расступилась, и через некоторое время обнажилось продолжение позвонков. Кот откопал скелет. находка очень не понравилась ему. Кот лег рядом, и стало понятно, что пришелец никакой не пришелец, а второй – в этом месте и времени. Мурлыканье превратилось в музыку печальную, хриплую и затихло. Они лежали рядом: застывшая меховая музыка – словно звук заледенел – и светящиеся позвонки. Скоро точно такие же три засветились среди густого меха... Мы замерли.

– Твой Платон маг, – сказал Ко.

– Это не Платон. Ай да я, – сказала я, – ай да сукин сын!

– Не примазывайся к чужой славе. Ты не Пушкин, не Платон. Ты существо с нарушенным кодом, и вечно из-за тебя мы попадаем в истории. Эта – странная и печальная. Пора возвращаться.

Но ушли не сразу.

Мы закопали его рядом. Время схлопнулось. Не было в Альмаире котов. Все стало на свои места.

Отчет Ко писал в тяжелейшем состоянии духа: «Мы давно преодолели смерть, и вот теперь – опять возвращение туда, где встречи с ней возможны. Это позволяет нам датировать с точностью до дня время сунок».

– О! Ты помнишь, когда изобрели вечную жизнь? Так я ставлю эту дату? И он написал: «Время – Пасха. Вознесение Господне – переход, отмечаемый на 40-й день, в честь вознесения плоти Иисуса Христа и обетования о Его втором пришествии».

ТАЙНЫЙ ХОД НЕ СКАЖУ КУДА

Мне безразлично, что вы думаете по поводу Сережи Шерстюка. Мне не все равно, что вы о нем вспомните.

Я не была ему другом. Мы встречались трижды. Каждая встреча была единственной. Во время последней Сережа подарил фотографию – за его спиной вырос-тал Одесский оперный театр. Прекрасный и разрушающийся. Вскидывалась пантера, и тень от лапы ее падала на Сережино плечо... Пантера замерла, тень продлилась и достигла Нескучного сада, где я брожу по тропинке, на которой стоял на коленях Сережа и кормил белку. Белка все еще кормится с ладошек бродящих по дорожкам, а Сережи больше нет.

Он сказал тогда – запоминай, сверху рыжая, подпушка серая. Никогда не крась волосы – станешь похожа на белку. Я не хочу, чтобы ты была похожа. Я не люблю вертялых. Ты втируша, медленная, но внезапная. Это всегда настраивает против, потому что последний удар ты наносишь безошибочно. И это предугадывается и ...пугает.

На фотографии Сережа написал в том числе и: «ЗА свободу». Свобода начиналась справа от Памятника Пушкину на Приморском бульваре. Это опять Одесса. Он говорил: «Это вопрос достоинства – я не хочу быть понятым. Я предпочитаю память, а не понимание. Меня Одесса знает. И в Одессе есть кому – не забыть меня. Я сюда приезжал не к тебе.

Но ты пересекла все мои дороги трижды и это неспроста. Говори, чего тебе надо, что хочешь узнать, увидеть, понять. Хочешь, подарю картину? Хочешь, тебя нарисую? Почему ты ничего не хочешь, женщины всегда хотят. Хотя разве ты женщина? В тебе помещается город, и есть еще место – для чего ты так жадно заглатываешь жизнь, я не знаю, как с тобой разговаривать. Не загоняй меня в тупик.

Здесь у вас женщины ничего не хотят, меня не хотят. Зачем ты смотришь, как я топчусь и вязну сам у себя на зубах? Я ее видеть больше не могу. Не хочу. Не буду.

Возьмешь билет – на, держи, завтра уедем в Киев. От этой женщины уедем. Она меня с ума сводит. Я из-за нее много чего сделал. Но и не сделаю никогда не меньше...»

Когда шли по Андреевскому спуску, Сережа сказал, что рано или поздно восстановят Михайловский монастырь. И тогда мы сумеем заказать молебен за заблудшие души. – У меня много заблудших душ за пазухой, – странно говорил Сережа. И только ты душа свободная, без принуждения хотящая радоваться и быть счастливой. Я таких девчонок не видел отродясь. Наверное, ты мутантка. Они тебя никогда не полюбят.

И я тебя не люблю – разве можно любить того, кто не имеет имени? Ольга – не имя. Свя-та-я. Разве можно так называть женщину. Хотя – какая ты женщина. Ты встреча, которая никогда не повторяется. Она всегда заново. Всегда сначала.

И это ужасно, что смерть придет, и мы не узнаем, что уже все, никогда не будет опять и снова...

Это может быть и хорошо, потому что нет ее, мы есть, а смерти нет, и ты не бойся. Когда я умру, ты узнаешь и не удивишься, потому что я уйду первым.



Ты тайна, ты та дверь, в которую входят один раз и – никогда не выходят. И всякий раз надо входить заново.

Где ты бываешь, когда меня нет возле? Кто притрагивается к ручке на твоей двери и что ты делаешь с ним, приоткрывающим, просачивающимся в твои комнаты, дворы, переходы, подвалы, кто и зачем свешивается с твоих балконов и зачем доходят до чердака... Куда им – выше... Чем они заканчивают, если никогда не выходят через ту дверь, в которую ты позволила войти. Почему ты приехала в Москву и ждешь меня на Страстном, я не мог тебя не почувствовать. Ну вот, я пришел. Куда теперь?

Какого черта, – сказал Сережа милиционеру, – какого черта ты на нее смотришь? Пусть плавает, где хочет. А почему не в фонтане – такая жара...

Ну и что, что голая, она не голая, она обнаженная. И это прекрасно. И она хороша. – Ольга, покажись этому мудаку. – Да я не выражаюсь, я – выражаю. Идею. Женщина купается в фонтане. Мужчины смотрят и запоминают. Это их мужиками и делает. А ты что, денег за это хочешь? На, столько – достаточно?

Ольга, плыви к другому краю, я подойду.

И он подошел с платьем и букетом ромашек.

– Откуда, спрашиваю, ромашки?

...Долго шли по ботаническому саду. Отдыхали в кустах:

– О, я подзаборная, а ты толстый и довольный!

– Я – я толстый? Ты пощупай – где жир, это одесское восприятие, это у вас все толстые, ты посмотри, как я узок, – и Сережа погладил джинсы, будто крошки стряхнул. – Я голубой джинсовый парниша, у меня узлы на пальцах – как у тебя на платочке. О чем забыть боишься, зачем узелки – и он развязал два...

В первый узелок был завязан перстенок, он купил его для меня на «Привоze», надел на палец, покрутил и сказал:

– Ничего, пока великоват, потом в пору будет.

Во втором узелке лежала сережка. Оставшаяся. Первую мы с ним так и не нашли в траве... Тогда одуряюще пахла сирень, скатывавшаяся волнами в Днепр со склонов Киевского ботанического...

Мы всегда оказывались в ботаническом, и в Одессе, и в Киеве, и в Москве... Все ботанические сады были нашими.

Еще был Нескучный сад в Москве, и Городской сад, мимо него бежала Дерибасовская, на ней Сережа учил меня танцевать вальс-бостон:

– И раз два три, и раз два три...

Потом сказал, что не понимает разницы между вальсом и вальсом-бостоном.

Потом еще было... твист на ротонде в горсаду, и шейковали в кафе «Молодежное», и Дерибасовская нас не отпускала, а потом обнаружили на Ланжероне – купались прямо в чем были – он заджинсованный, а я в платье выходном – и на нас как на сумасшедших смотрели.

Вечером грелись в «Оксамите Украины» сухим красным, и Сережа говорил, что глобализм победит не только в искусстве, и что грядет кровь и великое молчание. И что:

– Твои мужья никогда не найдут общего языка, потому что у вас общие дети и жизнь общая, зачем еще что-то, общий язык нужен тем, кому есть что делить, а вам

делить нечего. Не тебя же и детей. Ты научись спокойствию, остальное у тебя есть. А то, что будет, от тебя уже не зависит, будущее ты себе уже обеспечила признанием.

– Каким? – спросила оторопело.

– Дура, – мрачно сказал Шерстюк. Это дорого стоит: «А я дыханье. И любовь. И вечный праздник».

– Сколько? – так же мрачно спросила.

Он выгреб из кармана деньги, высыпал мне в подол и, покрутив у виска пальцем, положил туда же свой паспорт.

Он был единственным мужчиной на свете, поднявшим меня на руках по 192 ступенькам Потемкинской лестницы не передохнув, и присел на ступеньки памятника Дюку, так и не выпустив меня из рук. Ему аплодировали.

И я не поцеловала его.

Еще я могу сказать, что кольцо и фотография лежат где ни попадя, потому что я люблю смотреть на них и трогать. Но я никогда ни с кем не говорила о Сереже. Я была его «Тайным ходом не скажу куда», и то, что я написала – это подарок Сереже на его посмертное пятидесятилетие.

21.12.2001, Москва.

ЖИВУ СПОКОЙНО

А началось знакомство с Сережей смешно...

Я возвращалась со встречи с Юнной Мориц. Она отредактировала мою рукопись, и вот я купила бутылку сухого красного, сушеные бананы и на Страстном бульваре сидела на скамеечке с Володей Салимоном. Мы обмывали мою рукопись, потому что отредактировано было совсем ничего, но очень «по делу» – просто вычеркнуты некоторые строчки, просто зачеркнуты некоторые стихи. Ножницами что-то вырезано. И – несколько новых строчек предложено взамен... Это был здоровский результат. Я думаю, мне очень повезло. И я тогда очень гордилась этим. Собственно, я и сейчас так же отношусь – с гордостью и благодарностью, меня многому Юнна Петровна научила.

Когда я решала, к кому из теток-поэтов идти, я написала письмо Ахмадулиной, но не отправила его, и позвонила Мориц. Решила, что по моему характеру идти надо к Юнне. Да и по ее характеру, как позже выяснилось, тоже. Ну, я тоже была тетка, мне уже 36 случилось...

Она спросила не без иронии, узнав, сколько мне лет: «И много написали?»

– 16 килограмм, – ответила. Юнна Петровна велела взять 250 грамм и зайти к семи вечера. Но я потеряла адрес и – Лидия Графова мне помогла, дала телефон – я опоздала на полтора часа. Была в ужасе – жутко не люблю опаздывать. Да еще – к МОРИЦ!))

Ну, это другая история.

Так вот, сидим мы с Салимоном, а у него еще свеженькая писательская ксива, он мне ее показывает, мы и ее обмываем. И тут прямо перед нами тормозит

ментовский бобик. Времена сухого закона... Салимона – в машину. Мне тоже надо в машину, но вроде бы я им не очень нужна, милиционерам. И я очень на это обиделась... – Даже ментам не нужна...

Подхожу я к водителю, засовываю голову в окошко и на ухо ему кой-чего шепотом. Он хмыкает и... отпускает Володю. А мне говорит: «Ты только уведи его, ну, вот там есть подворотня, а во дворе – столик для доминошников, так вы там и договорите, с глаз подальше!» И – уезжают.

– Ты что ему сказала?

– А, – отвечаю, – потом как-нибудь расскажу.

Смотрю, а полбутылки еще есть, только пролилось чуть-чуть на правки Юнны Петровны, и стихи теперь «под градусом», и подпись ее размашистая – стала пьяной!

– Ладно, – говорит Салимон, – здесь недалеко Шерстюка мастерская, зайдем, расскажем.

Заходим. Там, по-моему, два окна было. Не помню. И огромные картины – одна свежая, в работе, что-то коричнево-синее. А на мне платье специально для «представительства» в одесской комиссионке купленное, чудное такое... почти новенькое. Ну, мы знакомимся, ля-ля тополя, Салимон рассказывает, как я его из «бобика» ментовского вытащила, и они оба:

– Что ты ему сказала?!

А мне в лом...

И тут Сергей меня в моем платье всей мною – вписал в картину. Со спины. А потом развернул и мордой лица – туда же.

Получилось что-то невообразимое – и на картине, и вся я – сплошная такая «глобалистка» получилась (он тогда глобалистом себя называл и все под таким углом рассматривал. От него о глобализме и узнала, а тогда об этом ничего почти и не говорили, ну, он о глобализме в искусстве, а не о политике...). Получилось, словно меня из его шедевра вырезали.

Я таки уперлась, разозлилась, сказала – нечего меня теперь вытирать, (это он меня тряпкой, вонючим растворителем пытался!), я теперь – произведение искусства, так и буду ходить по Москве. Так весь день и проходила – коричнево-голубой.

А ночевала в его мастерской, он меня оставил и ушел. Утром просыпаюсь, а он уже хлопчет, кофе готовит. На стуле лежит новое платье. Роскошное. И билет на Одессу. На самолет. А моего «шедеврального» платья нет.

– Гад, – говорю вежливо и холодно, – мое платье где? Верни!

Отвечает:

– Увы, – я им тебя с картины смыл. Ты мне там не понравилась. Примерь лучше новое, и давай, кофеёчек готов!

Платье оказалось тюелька в тюельку.

– Это как же у тебя получилось?

А Сережа обиженно:

– Ты что, не понимаешь? У меня же глазомер! Я – профессионал!

Пьем кофе...

– Зачем мне улетать, – возмущаясь, – у меня дела ещё в Москве.

– Вали, – говорит, – и поскорей. А то вообще никто ничего не сделает. Ни ты, ни я. И чтобы я тебя вообще больше никогда, поняла?

– А почему?

– А потому, что мне Одессы – выше крыши. Так что лети, Белка, и живи спокойно.

(Сереза меня или Ольгой, или Белкой называл.)

И проводил он меня во Внуково, и рассказал мне три бочки арестантов – за жизнь свою, мою, и – нашу. Какой она теперь станет.

И ведь правду сказал – жизнь стала такой. Нашей. Но об этом я уже раньше написала. Осталась еще одна встреча.

Когда-нибудь... я и ее расскажу, там история спасения Салимона от ментов отыграла на всю катушку. Только... раскатушилась катушка очень скоро. Страшно раскатушилась.

20.01.2003



Семен АБРАМОВИЧ

**МАРИЯ ТИЛЛО
(1977–2006)**

Мария Семеновна Тилло родилась в Коростышеве Житомирской области – городке, несмотря на нынешний его будничность облик, старинном: *керест* по-древнерусски означает камень, т. е., некогда это был город значительный, окруженный каменной стеной. Предки ее по материнской линии еще с дореволюционных времен были учителями, причем преимущественно филологами. Филологом была и мать, Надежда Леонидовна, которая стала ее первым наставником в жизни и слове; в два года она уже разговаривала сложноподчиненными предложениями, а во втором классе прочитала «Войну и мир» Л. Толстого (правда, только первых два тома). Отец же – известный украинский филолог, культуролог, религиовед и теолог Семен Дмитриевич Абрамович – способствовал пробуждению в ней чувства слова поэтического.

Детские годы ее прошли в романтическом, овеянном легендами Каменце-Подольском. Впоследствии семья переехала в Черновцы, один из красивейших, «австрийских» городов Западной Украины, город, восхитивший ее своей архитектурой. Училась в музыкальной школе; сама освоила гитару. В 14-летнем возрасте девочка тяжело заболела, и с тех пор ее жизнь проходила в постоянной борьбе с недугом. Тем не менее, она с отличием окончила филологический факультет и аспирантуру Черновицкого университета и защитила кандидатскую диссертацию по творчеству любимейшего своего поэта – И. Бродского. Преподавала в черновицком вузе (ЧТЭИ КНТЭУ); приняла участие в нескольких научных проектах кафедры (соавтор нескольких известных в Украине учебников и учебных пособий). Фамилию *Тилло* Мария стала носить в браке с потомком французско-русского рода, который прославлен благодаря выдающемуся русскому ученому-географу и государственнику А. Тилло. Органична была ее рафинированная культурность, органична и горячая, совершенно недеklarативная религиозность, равно как и неизменная установка на то, чтобы никогда не причинить никому ни малейшей боли.

Она очень любила общество и, со школьной скамьи, неизменно бывала душой всяких литературно-художественных вечеров, чувствуя себя на сцене как рыба в воде. Красивая, светская, остроумная, она умела восхищать. Довольно уверенно и подчас очень оригинально рисовала. Но настоящей жизнью для нее была поэзия. Причем писала она не «сочиняя», всегда набело, и, как это ни грустно, часто вследствие обусловленных болезнью припадков в роде эпилептических: могла дрожащей рукой сразу же записать несколько стихотворений и утверждала, что они ей «продиктованы». Бывало, просыпалась ночью, чтобы записать стихи; на прикроватной тумбочке всегда лежали ручка и бумага. Исполняла собственные песни, сочиняя к ним музыку, под гитару.

Автор поэтических сборников «Я» (1998), «Alter Ego» (1999), «Терция» (2005), многочисленных публикаций в различных изданиях. Посмертно вышло полное издание произведений «Лирика» (2006). Это – сугубо философская лирика, медитация, как бы и несколько неожиданная для ее жизнелюбивой натуры. Мария очень трепетно чувствовала природу, не избегала подчас и натуралистических деталей, стремясь передать в слове неповторимое ощущение драгоценности каждого мгновения человеческого бытия. Но у нее почти отсутствуют как социальные, так и любовные мотивы. Поэтическое мироощущение Марии Тилло в значительной мере определено главной загадкой бытия: существованием Смерти. В ее творчестве присутствует особое духовное измерение – *поэтическая танатология*, осмысление феномена Смерти:

Радость безумная, скорость слов,
Искренность нервных небес-основ,
Необъяснимая суета –
В этом и спрятана красота

Жизни, которой-то, в общем, нет.
Все мы уйдем, не оставив след
В вечной грязи на тропах эпох:
Имя накроет зеленый мох

С меткой «Забвение»: канет в высь
Странно-красивая птица Жизнь.

Или вот еще один, написанный незадолго до кончины текст:

Поэты долго не живут
Поэтов просто не прощают:
Они в реальность воплощают
Чего в реальности не ждут.

И по наитию бредут,
Забыв дорожку в трафарете.

А потому на этом свете
Поэты долго не живут.

Это – мужественная позиция человека, который привык смотреть в лицо судьбе. И все же здесь доминирует пафос утверждения жизни как блага, счастья, – и в высоких, и в самых низменных своих проявлениях:

Радость, как сытая лошадь, навозом из рифмы
Опустошает желудок распухших мозгов.
Боги разбились об небо, ушедши из Рима –
Нет больше цокота цепких и скользких шагов.

Что это, Господи? Может быть, все-таки счастье?
Странно, как странно листать перекошенный вздор.

Там, впереди, на заре истлевающей власти,
Время опять открывает пустой коридор.

Умерла она в порыве молитвы, пытаясь покрепче сжать слабеющие ладони...
Огромную роль в открытии творчества Марии Тилло для широкой общественности сыграл известный киевский поэт, издатель и меценат С. Бурого. О ее поэзии одобрительно отзывались и такие мастера поэтического слова, как С. Пантюк, В. Колодий, Т. Севернюк; ее творчество исследовали известные украинские и российские ученые: П. Михед, Т. Пахарева, М. Михайлова, Г. Якушева, М. Ткачук, А. Николенко и др.; ее памяти посвящен отлично сделанный телевизионный фильм, который можно увидеть по украинским каналам (режиссер Г. Терон). На ее черновицком доме установлена – черный гранит и белый мрамор – мемориальная доска.

Я МИНУТОЙ ОЩУЩАЛА ЧЕРНЫЙ ВЕК*Мария ТИМО********

Полусошедшая с ума
От ослепительного крика,
С собой я остаюсь сама,
Раздета, смята и безлика.

И день, закончив свой обход,
Вдруг уступает место ночи.
Я знаю: этот день – не тот,
Хоть в нем – цепочка многоточий.

И ночь такая же не та;
Не та луна, чужие звезды.
И душный дождь – не та вода:
Тяжелые пустые гроздья.

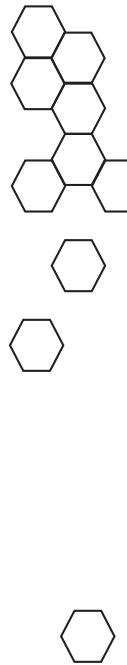
Не тот мотив, не те слова;
Чужие звенья, звуки, слоги...
Совсем чужая голова,
И в ней – совсем чужие боги...

26.07.95

И небо усыпано звездами.
И дождь, как шальной мальчуган,
На землю – веселыми гроздьями.
И гром достает свой наган.

И радость – девчонка счастливая,
На ветре веселом спешит,
Такая смешная, красивая!
И горе в могиле лежит...

09.08.98



ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Город градом раскрыт до падения башен без боли,
До развернутых окон на стенах разбитых домов.
Эта странная радость животного мира раздолья,
Где не нужно значения краскам беспомощных слов.

Мы спешим, не заметив, куда убегает дорога,
Мы не чувствуем горечи луж и пространства для ям.
Мы куда-то идем в состояньи простого потока,
Где бездумное сердце стучит, как расшатанный ямб.

Там горит светофор обесцвеченной троицы света,
И кричащей вороною время садится на грудь.
А назад нет пути: возвращаться – плохая примета,
И не хочется, страшно опять в пустоту повернуть...

15.10.03

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я ждала тебя, мой черный человек,
Я глаза разбила о слепые окна.
Я минутой ощущала черный век.
И от слез ресницы насухо промокли.

Где ты ходишь? Кто сегодня есть твой друг?
Мы, не встретившись, простились и расстались.
Четкой линии змеей замкнулся круг,
И опять на разных точках мы остались.
Где ты скрылась, моя черная душа?
Я искала, и сгорал ненужный факел,
Искрой яркою сквозь темноту дрожа,
Словно робкие солдатики в атаке.

01.01.06

Следи за звездами. Они,
Все так же холодно жестоки,
Бьют взгляд остроконечным током,
Бросая вниз свои огни.

И лишь однажды не смогла
Звезда за небо удержаться;
Она – разбиться и сорваться! –
Мечтой в ладонь мою легла.

04.06.98

КОСТЕР

Костер погас – остался пепел.
Деревьев мертвые тела
Разносит бесшабашный ветер.
И эта серая зола

Взлетает над землей горячей
И вновь ложится на траву.
Дрова сгорели. Ветки плачут.
А лист кричит: «Еще живу!»,

Не понимая, что погибнет,
Сгорит – и разбежится в ночь.
Горит костер – сухие хрипы.
И не могу ему помочь.

25.02.06



Леся ТЫШКОВСКАЯ

МОНОЛОГИ У ГРОБА

Темный зал. Почти комната. В нем едва помещаются два стола для гробов и предполагаемые люди по обе стороны. Один стол пустует, на втором – гроб. Когда я подхожу к нему, те, которые рядом, расступаются. Их не так уж много – два-три человека-родственника. Они покидают комнату подчеркнуто-тактично, оставляя меня наедине с гробом. Я просила об этом заранее. Прощание с телом – или как это называется – для всех естественно и не вызывает сопротивления.

– Мама, – я подхожу ближе...

Слава Богу, это не моя мать. Чужая старушка с платочком на голове... Странный платочек... Ира что-то говорила о полотенце, которое пришлось применить в качестве платка, потому что челюсть отваливалась. Слава Богу, это не моя мама. Было бы безумно обидно: такая красивая – и вдруг отвалившаяся челюсть, посиневшие виски, заточенные черты лица, почти-черепа, провалившиеся глаза. Их закрывал папа, лежащий в той же больнице. Глаза монашки. Лицо мученицы. Мама часто разговаривала с Богом в последние месяцы – и я радовалась, надеясь, что это поможет ей преодолеть смерть. Так думали все, кто молился за нее – вся церковь. Хотя на переход ее к евангелистам, честно говоря, я смотрела, как на забаву. Взять хотя бы крещение в ванной, при котором я, к счастью, не присутствовала. Папа – того хотя бы в Днепр окунули. К тому же, он – неофит по жизни, он вообще никогда не верил, и уверовать на старости для него было равносильно чуду. Какая разница – православные, евангелисты... – убеждала я себя, когда мама перекрестилась. Позже она пыталась объяснить это тем, что православие ее как будто не принимало. Православием она называла бабушек, отпускающих ханжеские замечания на предмет ее накрашенных губ или отсутствующего платка в церкви. По иронии смерти ей все же пришлось его использовать.

Если бы знать заранее о гримасах морга, можно было бы принести что-нибудь попривлекательнее. Я же надела на нее самое красивое платье – свое выпускное, которое так понравилось ей, что она

стала выходить в нем на сцену. Я выбрала для нее самое красивое белье – меня так раздражало, когда я видела на ней вылинявшее... Как будто теперь все это имело какое-то значение. Как будто это могло искупить то, что при жизни она ходила в обносках – женщина, мечтающая о роскоши, часами стоящая перед витринами, где сверкали бриллианты, так и не украсившие ее пальцы... Та, которая отправлялась в последнюю больницу – и при этом радовалась оставленным мне в наследство золотым украшениям, которые так и пролежали в доме, пока их кто-то не вынес. А я еще упрекнула ее тогда... Нет, я закричала: Как ты можешь сейчас говорить об этом? Ты всегда думала не о том, медленно убивая себя, стоя в очереди за железками!.. Сейчас я ношу только драгоценный набор, который ты подарила мне на окончание университета, и обручальное кольцо, которое, возможно, когда-нибудь заменит всё.

Мама, закричала я тогда. Прости меня. Я так часто была груба с тобой. Даже за день до смерти, когда не знала, что этот день будет нашим последним и что я уже никогда не смогу попросить у тебя прощения. Ты лежала на больничной кровати, потому что уже не могла сидеть – ты умирала! – и думала о какой-то чепухе: о своей недоеденной порции, которую почему-то обязан был съесть папа – ты не уставала посылать за ним – о том, что я мало ем – ты перечисляла присутствующим, что именно, как и сколько – ты говорила все это, умирая от голода! Ты все время думала только обо мне. А меня это просто бесило. Я не понимала, что тебя уже невозможно обратить лицом к себе – и поэтому нужно сделать свое лицо твоим отражением – смотреть на тебя, смотреть за тобой, как ты – за мной. Смотрела всю жизнь.

Сейчас я превратилась в это зеркало. Но оно уже ничего не отражает. Как будто его завесили белой тканью. Когда я вернулась из больницы, в доме все зеркала были белыми. Со странным ощущением неопрятности я скинула белые тряпки – под ними оказалось мое лицо. Всё чаще я подходила к нему. Всё чаще заглядывала в себя. Как будто отыскивая то единственное, что может открыть смысл происшедшего. Через несколько дней я уже понимала, почему в доме покойника завешивают зеркала: чтобы спрятать в белый саван тайну, чтобы похоронить ее там, чтобы защитить ее от любопытствующей жизни, просачивающейся во все щели. Я смотрела в свои глаза – наверное, я искала в них твоё отражение. Глаза увлажнились, сопротивляясь попытке рассмотреть тебя – ты лежала на дне прозрачного ручья, и омывающие потоки мешали провести четкую грань между тобой и мной...

Нужно остановиться и перевести дыхание, потому что сейчас я попала в ту точку пространства, где происходит метаморфоза: тот, кто переживает, превращается в того, кто пишет. Не могу понять, когда это произошло. Когда вмешалась литература? Наверное, тогда, когда мне захотелось заменить обыкновенные слезы метафорой. Тогда я и солгала – я не видела тебя в этот день на дне озера. Это снова любопытствовала жизнь – жестокий ребенок, заглядывающий в комнату с покойным, чтобы увидеть, в какие одежды наряжается новое состояние, как выглядит высокая мода по ту сторону бытия. А еще я смотрела на себя в зеркало, как смотрит актриса, чтобы со временем в каком-нибудь спектакле сыграть свое сегодняшнее состояние. Может быть, поэтому я и попросила всех покинуть зал – чтобы прощание не превратилось еще в одну театральную сцену.

Мама, наконец-то мы вдвоем. Как ты изменилась за эти дни в морге – острее проступило страдание, которое ежеминутно подтачивало твою жизнь. Твои коллеги, приехавшие через некоторое время, не узнают тебя. Они войдут в зал, когда я буду стоять у дверей, встречая гостей, как невеста с невидимым женихом, принимающая цветы. Они войдут в зал залпом, все сразу – и залпом выйдут, растерянно вернувшись к дверям. Вначале я не разберу их траектории. И только тогда, когда кто-то из них выдавит – *Это же Зоя!* – внезапная догадка – они не узнали ее! – поразит, как острая боль, мгновенно выводящая из равновесия. *Это же мама!* – захочется крикнуть. Та, которую вы привыкли видеть красивой на сцене в музыкальных капустниках и вечерах-годовщинах, чей голос озвучивал ваши тугоухие стены, заставляя плакать тех, кто навсегда посвятил свою жизнь приобретениям вещей и любовников. Вы бросались в объятия ее голоса, забрасывая его цветами, радуясь и забывая обо всем. А позже – забывая о своей радости и о Зое, которая снова пропадала на месяц. – Как можно так долго болеть? За что ей платят деньги? – возмущались вы, забывая, что своё последнее выступление она перенесла уже похудевшей и измученной каждодневными болями, избегающей вашего накрытого стола, который вызывал в ней столько желаний. Уже совсем истощенная и нюхающая бабушкины запахи на кухне, она как-то сказала: Вот бы поесть хотя бы раз – много-много – и умереть от обжорства!

Через полгода после этого выступления она умрет. Через полгода ее невозможно будет узнать. Через полгода – лицо монашки с провалившимися глазами. Мамочка, они скоро вернуться – и я не смогу прикоснуться к тебе по-настоящему. Я уже знаю об этом, потому что сейчас нахожусь одновременно в двух точках пространства – у гроба в полутемном зале и в полутемной комнате чужой квартиры, где я пишу об этом зале. За это время я научилась находиться одновременно там и здесь. А еще на могиле. И по дороге к ней. И на поминках. Я так давно живу на перекрестке этих мест и ежедневно произношу **М о н о л о г и у г р о б а**.

Я говорю с тобой, мамочка. Я говорю тебе всё, что не успела сказать при жизни: *мама, я люблю тебя. Я люблю тебя, мама!* Пожалуйста, услышь меня! Пожалуйста, поверь мне. Я буду говорить тебе это каждый день и каждую ночь, просыпаясь от снов, в которых ты снова со мной – уже воскресшая, радостная и счастливая, осязающая радость мою. Прости мне эти слёзы. Я помню: ты просила не плакать после. Но просьба становилась ещё одним поводом к моему раздражению. И самое ужасное – я простила с тобой именно в такой момент. Правда, догадавшись попросить прощение. Это хорошо, что всё-таки попросила, с облегчением сказала Ира. Как будто ты не простила бы меня и без просьбы. Ты прощала меня всегда. Стоило только подойти и прикоснуться к тебе, и заплакать – то ли от стыда, то ли от жалости к тебе, такой настоящей в те минуты по сравнению со мной.

Когда ты стала совсем святой, я растерялась. Правда, на какое-то мгновение успела обрадоваться. Твоему покою и тому, что в доме стало внезапно тихо, и этому нелепому обращению к отцу: *Пойдем молиться, любимый!* Как остро в эти дни я переживала свои падения, как боялась тебе признаться в них. Как появилась первая преграда к доверию. Как много можно было бы еще вспомнить. И я цепляюсь за это

«много» как за последнюю возможность побыть вместе... Сейчас сюда войдут люди. Нам остается совсем немного. Я так мало находилась рядом с тобой последние годы, когда ты в этом особенно нуждалась.

Когда с тобой случился первый приступ – в ночь накануне моего дня рождения – я была от тебя еще дальше, чем на расстоянии другого города. Потому что я не отменила этот день и встретила его в присутствии друзей. И очень даже веселилась. Потому что пригласила единственную женщину и семь мужчин вместо единственного, который позвонил утром из Минска и извинился за вынужденное отсутствие, а к девяти вечера, когда женщина ушла, всё-таки прилетел и занялся подсчетом присутствующих, их классификацией и систематизацией по длине волос и цвету, отсутствию или наличию усов, бород и лысин, а также другим показателям мужского пола. Я веселилась – а ты всё это время сидела на кухне и готовила.

Бессчетное число раз пытаюсь оправдаться, я находила довольно веские причины для объяснения такой преступной невнимательности. Например, желание разрушить ту атмосферу болезни, которая пропитала этот дом в течение четверти века, когда каждое утро ты просыпалась со словами *я умираю*, единодушно приписанными неврозу всеми членами семьи, родственниками и родственными душами. И мои собственные приступы, которые со временем тоже превратились в явление естественное и, к тому же, безопасное, поскольку ты выхаживала меня каждый раз, сидя сутками после операций в больницах и дома, сбиваясь с ног, заваривая бесконечные травы и перетирая всевозможные каши. Грудняк ты мой, – тоскливила ты, поднося мне в постель очередную дозу внимательности.

В тот – первый день – мне нужно было всего лишь понять, что взрослый тоже может быть ребенком, когда он беспомощен. Мне нужно было ухаживать за тобой, как за ребенком, мама, все эти годы, а не только последние десять дней, когда, наконец, я смогла отдать частичку себя, но настолько малую, что она уже не помогла. *Я спасу тебя, мамочка!* – пообещала я в преддверии больницы. *Мамочка. Ты не умрешь,* – повторяла я на коленях, – *я никогда не думала, что так тебя люблю...* Это было страшным признанием. Наверное, только перед лицом смерти и можно так говорить.

Ещё одно, из разряда страшных... Ты стоишь возле шкафа и перебираешь свои вещи, всё новое пытаюсь отдать мне под неуклюжими предлогами, даже колготки и носки. И вдруг, посмотрев на халат, который в то время был на тебе, спрашиваешь: А ты будешь носить мой халат после?.. Не помню, как ты ее назвала. Помню захлестнувшую волну ярости: Ты что, хочешь, чтобы я сдохла? Не знаю, какой бес произнес эту фразу. Меня разрывало сразу несколько. Один прикидывался паинькой и внушал, что нужно думать о вечном, а не вещном, стоя на пороге тайны. Другой был трусливым язычником: ему казалось, что болезни передаются с вещами. Третий – бес жалости – был самым мелким. Он жалел бесполезно, ради самой жалости. Он ныл и повизгивал от безысходности, обступившей его со всех сторон – больничный отец, иностранный жених, умирающая мать... Боже, как она боялась помешать нашему браку. Даже в палате она рассказывала, что ее дочь не может выйти замуж из-за нее, не догадываясь, что причина – не в ней, что она – только часть корневища под названием



Киев. Когда Андрей, приехавший на девятый день и купивший билеты обратно, спросил: *А разве ты – не со мной, я, не задумываясь, ответила: А как же могла?*

Всё происходило в его отсутствие. Чужие мужчины, которые возили в больницу и на кладбище, жалели и любили, копаясь в моих самокопаниях, единственная женщина, на которую я ежедневно выбрасывала часть накопившегося невидимого мусора и которая терпеливо перебирала этот хлам, откладывая то, что было совсем непригодно и оставляя то, что можно было переделать – мои искаженные мысли, искаленные слова, истеричные крики по ночам.

Видимый мусор я стала истреблять сама. В первые дни, когда квартира совсем опустела (отец вернулся в больницу долечиваться, а бабушка жила в другой комнате, как в другой квартире), я стала выбрасывать тряпки и кульки, выметать пыль и сдирать с посуды слой за слоем черноту, накопившуюся за годы болезней. Я избавлялась от смерти с таким энтузиазмом, который не посещал меня при жизни... При жизни мамы. Я уточнила – и мне стало страшно: неужели смерть так прочно внедрилась в моё сознание? Она снова стала героиней моих стихов, как шесть лет назад, когда я безостановочно худела и чувствовала ее совсем рядом.

Последние полгода мне казалось, что кто-то стоит за моей спиной. Я боялась обернуться – и разглядеть... Сейчас я произнесу эти слова... После твоей смерти оно исчезло. Когда я проснулась на другое утро после похорон, воздух в комнате был прозрачным и свежим – и я почувствовала... Облегчение. После сообщения о твоей смерти я испытала такое же чувство: Слава Богу, *конец* твоим мукам. Я взяла в руки гитару, которую отложила, услышав телефонный звонок из больницы. Я репетировала предстоящий спектакль. В городе висели афиши, рекламное радио любезно предоставляло время в эфире и замечательный Дом актера безвозмездно сдавался на поэтический произвол. Проводя с тобой целые дни в больнице, я долго колебалась, делать или нет этот вечер, выдержи ли я его физически. Как ни странно, моральных противоречий не возникало: я ведь нашла людей, которые будут ухаживать за тобой в этот день, – повторяла я главное оправдание. Но для очистки совести всё-таки переспросила: *Ма, может бросить всю эту затею со спектаклем?* Спросила, рассчитывая на неизменное: *Нет.* Конечно – делай не откладывая. Я себе после не прощу, если ты откажешься *из-за меня*...

Ты снова боялась стать помехой. Ты никогда не позволяла увеличить дозу чьей-либо помощи. Только в эти десять беспомощных дней, когда я приехала из Минска и, увидев твое состояние, побежала брать направление в больницу, бросив сумки и дорожные впечатления, куда попало. Направления, конечно, не было. Врачи, все до одного грипповали, и скорые стали постоянными визитерами. Они приезжали, кололи только то, что мы находили сами, и уезжали так быстро, как будто боялись оставить воспоминание о своем пребывании. Вскоре их появления утратили статус событий, став еще одним компонентом в новом, вымученном режиме дня.

На следующий день после приезда я пошла в церковь – поставить свечу и попросить:

Избавь ее от страданий, Боже. Но если это невозможно... Сделай так, чтобы она больше не чувствовала их... Нет, я не произнесла ее. Но она промелькнула –

и этого хватило на всю оставшуюся дорогу домой. Даже в тот момент, когда я покупала маме белые цветы, вспомнив рассказ О.Генри, в котором больная верила, что не умрет, пока за окном с дерева не упадет последний лист. Неся в руках эти первые весенние цветы жизни, я повторяла, как заклинание: *Мамочка, ты не умрешь*, пока я буду дарить тебе цветы так часто, чтобы они не успевали увянуть. Я буду продлевать твою жизнь их цветом на белом свету. Это поможет.

Это поможет...

Ну, зачем я зашла в эту аптеку? Неужели только затем, чтобы купить для отца, который неделю лежал с плевритом, бесполезные лекарства? Уже приближаясь к тебе и нажимая на кнопку лифта, я почувствовала, что, кроме сумки, в руках у меня ничего нет. Я не стала возвращаться к цветам – я поняла: потерянная жизнь не возвращается. И неважно, где я потеряла ее – в аптеке или раньше, в Минске, когда ещё оставалось несколько недель, чтобы спасти тебя, худеющую со скоростью смерти. Но тогда был Андрей. И грипп, сваливший меня с ног, и... моя невыносимая легкость бытия.

Нет, конечно, я потеряла тебя гораздо раньше. Когда ты вышла из больницы не вылечившись, год назад. По какой-то иронии судьбы второй приступ снова случился накануне моего дня рождения. Когда я проснулась, я не почувствовала происшедшего за ночь. Я ждала Андрея и его друзей, не пригласив никого из своих, не пожелав двух миров в одной маленькой комнате. Ты снова пыталась что-то приготовить, потому что Андрей заказал *приличный* стол, выделив соответствующую сумму, чтобы не чувствовать *вечную безысходность* в нашей семье. И я снова не узнала истинного лица болезни, и снова успокаивала себя тем, что приступ случился накануне и что не мой день – причина, и что лежать она всё равно не сможет. Мне нужно отвлечься, – повторяла мама, стоя у плиты, и я с готовностью соглашалась с самыми неправдоподобными возражениями. И с каждой минутой чувствовала всё возрастающую связь между мною и ею – скорее кровавую, чем кровную, всё явственней дающую понять, что это я, мой образ жизни, мои болезни лишили ее собственной жизни. Она впитала их – и очистила моё тело. Я стала быстро поправляться после ее смерти.

Хотя связь предполагалась обратная. Один из многочисленных экстрасенсов, к которым меня таскали в детстве, утверждал, что мама – мой вампир. Бабушке почему-то понравилась эта идея – она давала возможность лишней раз восстать против маминых сюсюканий, которые в последние годы стали тяготить и меня. Я заметила, что всё реже целуюсь с ней. А перед смертью она вообще не позволяла приближаться к своей болезни слишком близко. Может быть, ее преследовала мысль о том, что она отказалась лечь в инфекционное отделение, когда у нее обнаружили не то какую-то палочку, не то сальмонеллу? Я боюсь, – отвечала она на все наши доводы. Может, поэтому я и не смогла сразу притронуться к ее ледяному лицу, ещё не согревшемуся после морга?

Но в последние годы лейтмотивной стала другая фраза: *Ранами Иисуса я исцелена!* Она повторяла эти слова в унисон с соседкой-евангелисткой. Когда я впервые услышала их песенки на популярные мотивы, меня стошнило. А потом тошноту сменила улыбка – такими несовместимыми казались мать, выросшая на классике

и окончившая консерваторию (у нее была единственная слабость – джаз, которую я охотно унаследовала) и безвкусные песенки, которые она напевала, вторя голосу на кассете, напевала, полузакрыв глаза, блаженная, красивая... В такие моменты я не могла не радоваться, безразличная к тому, что ее поднимет – Бог или его лжепророки, если они молятся за нее каждый день.

Когда они подошли к твоему гробу, мама, я испытала двойное чувство: стыда – оттого, что была плохой опорой для тебя, и сопричастности – они тоже не смогли спасти тебя. Даже коллективной молитвой. Даже многочисленными изгнаниями Духа Зла. Значит, он был сильнее, – уверенно отвечали они. И я старалась поверить. Тем более что в детстве, по ночам, после какой-нибудь ссоры с тобой, мне казалось, что ты – ведьма, которая должна непременно подойти и задушить меня. От страха я открывала глаза. Днем же, когда ты кричала – исключительно благодаря моему гнусному характеру, – мне тоже казалось, что ты кричишь не своим голосом, что тобой овладело нечто, подчинившее тебя своей воле. В такие минуты глаза твои становились безумно-черными. Слава Богу, это всегда длилось недолго. Сейчас передо мной лежало лицо монашки, преодолевшей все искушения, о которой можно было сказать одно: ей хорошо.

В тот момент, когда я взяла в руки гитару, чтобы продолжить репетицию, я уже все осознала и поэтому смогла спеть лишь несколько тактов. Но голос стал сдаваться, предательски срываясь... А что если я сорвусь на сцене? Первую нелепую мысль сменили другие: Ты повторишь жест Эдит Пиаф, которая выступала в день смерти своего любимого...

Позвонила Ира. Она спрашивала сквозь слезы, почему ее не предупредили, обещала приехать завтра и ещё что-то про мясо к столу. Ты знаешь, что у меня завтра спектакль? – как можно спокойнее спросила я и зачем-то добавила: Что ты об этом думаешь? Внезапно что-то порвалось, и совсем другой голос ответил: *Не знаю. Решай сама. Мне кажется... Это не по-людски.*

Она не поняла! Я хотела посвятить этот спектакль маме! Она же так хотела, чтобы он состоялся! Я хотела сделать из нее легенду! Как Эдит Пиаф! Она не поняла...

Уже по дороге в больницу, я спросила у друга, оказавшегося рядом со мной в этот момент – того, кто устраивал мне спектакль: *Показывать?* И впервые захлебнулась настоящим, проплакав до самой больницы. А потом – в ней, когда увидела пустую кровать и отца с каким-то испуганным выражением лица, слишком быстро поднявшегося при моём появлении. Она ничего не передавала мне? Вспомни ее последние слова... – Я спрашивала и спрашивала, несмотря на четкое *нет*. – *Не может быть, чтобы она забыла обо мне!* –

Может. Потому что я не заслужила её последней мысли и ее слов. Я рассталась с ней так холодно... И она, наверное, подумала, что я слишком быстро устала ухаживать за ней, что во мне мало доброты и терпения. Но это не так – я спешила на встречу с врачом, чтобы взять для неё новую порцию лекарств, казавшихся панацеей, скорее – психологической, чем реальной, придуманной для таких безнадежных, как я.

А ещё я спешила на встречу с художником, который обещал оформить мне сцену... Я, конечно, опоздала.

В этот, последний, день я особенно мало времени провела с тобой, мама. Я торопилась и раздражалась. Ненавижу себя за это. Ненавижу себя с того самого дня – Шестого Апреля (оставался всего один день до Благовещенья), потому что не знаю, как искупить свою вину, мама. Я заказала тебе на день рождения деревянный резной крест, и мы водрузили его на то место, которое называлось могилой. Я купила тебе фарфоровую девочку со свечой и поставила на полке рядом с твоим портретом. Я заказала твой портрет на эмали – и он получился безвкусным, как всё, что делалось для тебя после смерти. Прости, что перечисляю все эти пустяки. Но при жизни я бы не сделала даже этого.

Я знаю, что действительно порадовало бы тебя – моё спасение в браке. И хотя на твоей могиле мы пообещали, что будем вместе, как ты этого хотела, иллюзия тепла с единственным мужчиной постепенно покрывалась тонкой корочкой льда. Потому что изменилась я. В погоне за забвением я почти перестала писать, поскольку это могло вернуть к осознанию, к выходу из жизненного похмелья, которое я искала любым способом. Именно в это время я научилась земной жизни. Я научилась осязать и пить ее, не пьянея, из прозрачной трубочки в неизменно красивом бокале. Я уже не могла уснуть без алкоголя.

Но пауза была: сразу после твоей смерти на меня нахлынули слова. И каждое было о тебе. Тогда я поняла, что это начало новой книги. Той, что я не написала при твоей жизни – книги о тебе. Пусть она будет совсем маленькой – не больше пятидесяти трёх страниц – не больше твоего возраста. В ней будет только то, что я написала тебе и то, что могло быть написано только тебе. И ещё то, что появилось благодаря тебе. Так разрасталась первоначальная идея.

Потом стихи замолчали – я погрузилась в диссертацию. И время хаотичных исповедей уступило место времени упорядоченных жанров. Но здесь, в Питере, благодаря идеям Мастера, который на время стал для меня Учителем, живые слова снова просочились сквозь язык научных исследований – и зазвучали эти монологи. Само название принадлежало ему, заказавшему каждому из своих учеников написать единственную исповедь жизни – м о н о л о г и у г р о б а, которые можно было бы обратиться к самому близкому. Мне не нужно было ничего выдумывать – и я начала писать свою первую в жизни исповедь.

Мама, прости меня за то, что я недостойна даже написанного. За обыкновенную женщину, живущую во мне, которой для счастья нужно обыкновенное тепло. Мама, мне так холодно без тебя! Сегодня пошёл снег – первый снег в городе, где у меня всё происходило впервые – и стихи, и взлеты, и падения, и выпадения во времени. И только болезни, которые ты так и не смогла унести с собой, повторились. Но скорее – как очищение, похожее на окончательное выздоровление. Ибо начало в ы с о к о й б о л е з н и – первые мои стихи 1986 года, проведенного с тобой в нашем первом Питере – завершилось только сейчас, через десять лет, книгой, обращенной к тебе. Когда в том же городе за окном идет такой же снег, и я лежу в коммуналке и болею после холодного душа в чужой квартире. И когда за стеной – маты, которые почему-то не слышны в родном городе. И когда тот, кто провожает тебя из театра, оказывается обыкновенным сытым хамом. И хочется уехать немедленно, так

и не научившись оставаться. И я уезжаю, оставляя о с т а в ш и х с я з д е с ь – слова, под которыми расписались две жизни – матери художницы, прикоснувшейся к моей книге, и твоя жизнь, замененная моей.

Я уезжаю отсюда и оставляю много своих книг «Оставшимся здесь». Так назывался и спектакль, который я тогда, конечно, отменила, перенесла его на сорок дней. Поскольку есть то, что дороже стихов и сцен, и символических совпадений. Есть Ты – единственная, кто у меня есть – мама, сестра, ребенок, подруга, консультант по всем моим эмпириям, утешительница, помощь, тепло моё в чужом городе, мой страх темноты, цена всего, что я делаю, истина моя, моя жизнь, моё зеркало, отражение моих несовершенств и отчаянье, и вина моя, вина... Только ты осталась для меня з д е с ь – и ты умерла. А я продолжаю искать твоё отражение в чужих людях, чтобы ещё и ещё побыть ребенком, окунуться в иллюзию уюта, испытал последнее разочарование: ощущение обузы, живущей в чужой квартире и в чужом городе.

Но свой уже потерял и потеряна преграда между всем и всеми, и время, и пространство стали какими-то безразмерными и растянулись до дурной бесконечности. Я всё чаще забываю отсчитывать свой возраст и не обижаюсь, когда слышу, что мне пора в детский сад. Это желание тебя, мама, мой ребенок последних дней. Я надеваю на твои палочки-ножки колготки. Я вытираю твоё тельце ватой, потому что мыться ты уже не можешь. Мама, ребеночек мой, я снова плачу, прости, я знаю, что мои слёзы привязывают тебя к земле, прости, я потеряла последнее тепло, и одиночество душит настолько, что у меня не перестает болеть горло – и я снова не могу уехать и покинуть этот холодный чужой город. Но я не тороплюсь – ехать всё равно некуда – ты не ждешь меня, как раньше. И никто нигде не ждет меня. Я потерялась между тремя городами – Питером, Киевом, Минском. Ты – где-то в другой стороне, и я не знаю, как до тебя дойти. И не готова к этой дороге. И не готова расчищать заметенные неведением тропинки. Разве что – нашу последнюю прогулку по лесу за два месяца до...

Ты подходишь к самой тонкой березке – и обнимаешь ее, чтобы набраться хоть немного жизненных соков-сил (из серии бабушкиных уроков), а потом мы – почему-то одновременно – поднимаем головы к кронам – и обреченно соглашаемся с представшей картиной: дерево, охваченное твоими высохшими руками, оказывается сухим мертвым стволом. Единственным в этой наполненной зеленью роще...

Не знаю, когда закончу говорить тебе и о тебе. Не знаю, когда сны перестанут говорить твоим голосом, мама... И хотя страницы, отведенные твоему возрасту (ровно пятьдесят три заняли стихи и эта проза), заканчиваются, исповедь не может быть обусловлена потраченным на нее временем. А монолог – это всегда исповедь. Я никогда не исповедовалась в высшем смысле этого слова, мама. А с твоим уходом, всё больше открываясь другим, как раньше – тебе, превратила откровенность в болтливость. Думаю, эта исповедь прекратит мутный поток холостых слов и станет началом молитвы. Моей и твоей. Ибо это ты, ставшая мной, говоришь во мне, продолжаешь свою судьбу, исправленную характером времени. И м о н о л о г и у г р о б а произносятся сейчас в комнате, где помещаются только две кровати. Одна из них пустует, как там, в морге. На второй – я.

ВЫСТЕРЕЧЬ И ВЫДУМАТЬ

Эльке ЭРБ

Эльке Эרב (*Elke Erb*, 1938) – немецкая поэтесса, эссеистка, переводчица. Живет и работает в Берлине. До объединения Германии – жила в гэдээровском Берлине. Первый сборник стихов и прозы вышел в 1975 году. С тех пор опубликовано около трех десятков книг, не считая переводов. Эльке Эרב переводит с французского, английского, греческого, но больше всего с русского. В ее переводе известны пушкинский «Борис Годунов», гоголевская «Женитьба», есенинские «Пугачев» и «Анна Снегина», стихотворения и проза Цветаевой, «Реквием» Ахматовой, произведения современных поэтов Елены Шварц, Ольги Мартыновой, Олега Юрьева и других.

Литературный труд Эльке Эרב отмечен десятком литературных премий и наград.

Марк Белорусец

УПРАЖНЕНИЕ

Ветрено.

*Как принялась я из нечто
(некой «данности», как всё еще говорят)
делать слова.*

Ветрено. И свежо.

Ветер разве тренирует деревья?
Да нет, они без ветра готовы вполне.
И для людей зачастую тренировки немислимы,
они считают, и в чем-то правы, что подготовлены.

Где ты витаешь? Перенеслась: от себя
в Сан-Франциско.
Так вот оно стало. Стал Сан-Франциско.
Солоно. Тягостно. Железом окованные
колеса фургонов. Скрипя

от края к краю, с east'a на west.
По причинам, что просто или непросто увидеть,
я представляю, как занимали тот край европейские переселенцы.
Словно под бровями у меня заволокло.

27.08.03

ЭТА ОСОБА, ПОХОЖЕ,

она настроена отрешиться.

Ну да, загруженное прежде
ведь нужно однажды сгрузить.
Понятно, раз была нагружена.

Даёт о себе знать, что пора заканчивать,
разделаться с тем, что было сделано.

Время куда-нибудь отступить, тихо убраться.

Прямую тянет теперь на сгиб,
согнутое притягивает.

Ее правды больше недостаточно.
Недостаточна она. И точка.

Камень или пыль.

Кожа на лице уставшая,
хоть дверь открыта на балкон.

И без десяти двенадцать.

Между лопаток кроткая, но
ощутимая боль – ого, как сверкнуло! – там, в хребте.

24.10.04

КАК МНЕ ПРИЙТИ ОТ ЭТОГО К ТОМУ?

Мне не прийти от этого к тому,
приду не я, а нечто третье,

что третье, их связующее, нужно
мне вызнать, выстеречь и выдумать,

что в сердце Одного касается Другого кожи,

что с плеч одних скользит в другое сердце,
в Другого попадая жизнь,

и как меж двух – Безместное и Общее – назвать,

мне нужно вызнать, выстеречь и выдумать – как иначе?
Тот хворост, что над ямою подламывается.

Упасть – подняться снова.
Да тут и тени нет сарказма.

16.01.05

ALTLAST*

*Я убираю прочь, в коробки,
унаследованные журналы «Советлитератур».*

Мы не знали, кто они, те люди.

Господи! Разве не похоже, когда пес воет,
будто воет его нога?

Сзади крайняя, вытянутая,
потому как он вперед воет –

будто воет нога?

Не в двадцать-тридцать, не в тридцать-сорок, не в...

* Altlast (нем.) – означает старые загрязнения, преимущественно в почве, угрожающие природной среде; также нерешенные в прошлом проблемы.

Да и как было знать –
они сменили парадигмы,

и стали неузнаваемы.
Замаскировались так.

Под небесным сводом,
под тем самым, его уже видел наш предок, неандерталец.
Они не светились.

22.08.05

РЕТРОСПЕКЦИЯ

Как сомневающийся сын
(они в ту пору вылезли, как грибы после дождя)
того самоучки, что преуспел, держась за веру,

он взялся
(по своей именно логике,
не отцовской!) –

основательно, иначе не умел,
штудировать теологию

(после, когда вера рухнула, столь же основательно...)
(родился в девятьсот третьем).

Считаваю свои помыслы пятьдесят лет назад:
тяга к основам – и есть тяга ввысь,
к иерархичности возвышенного.

я полагаю, что тут попадаешь
ногой в капкан, почти неизбежно,
кое-кого он не отпускает до самой смерти, к примеру, моего отца,
а беда пришла своим чередом,

когда он был молод, как пятьдесят лет назад я,
обозревая все это: неосознанное, непризнанное
стремление к вершине...

вот ты у них и в руках, капкан под валежником...
просто, как дважды два...

12.11.04

КАСАТЕЛЬНО LADIES

Пока я здесь (в каминной, наверху)
на желтом руне половиц лежу, читая,
как юный Ван Дейк писал Апостолов,

возле меня в ожидании стоит пустота,
и вспоминает о схожей с ней,
тогда, в Эденкобене, возле меня,

или потом в Фельдафинге, или в других местах;
они, пустоты, вакуумы эти – ladies,
неколебимые стоят бессмертны, кивком

друг дружке отдавая честь; а та парит
от каждой к каждой гармонично
над временами, где их нет.

28.07.06

Перевод с немецкого Марка Белорусца



Татьяна РЕТИВОВА

КАБОТАЖНОЕ ПЛАВАНИЕ

СТАРЫЙ ДОМ

Старый дом ломится
От своих ветхих будней
Простывших бесследно.

Домовой переехал с котом
В мешке и занял место
На лестничной площадке

В Мышеловке. Млин, блин.
Метонимически освоив
Свою долю межи лиминальной.

О огороди меня дальше от
Невзгод! Через раму трюмо
Новизна проступает блеском

Ослепительным. Передает привет.
Старый дом молится
О нашем минувшем счастье

До конца света висо-
Косного года, аминь.
Что за вечность возникает

На фоне черной дыры?
Круг в квадрате моей мечты
Возмутительно притаился

В красном уголке. Он слишком
Прозаичен, этот образ. Тем
Не менее, я с ним не спорю.

Старый дом корчится
От одной мысли об
Изложенном в изголовье

Этого моего упречного [sic] творения.
Крест накрест – расположение
Моих непутевых путей.

Некий нелепо отгоняет
Мои взгляды от скрижалей.
Бесповоротно. Парадная,

Там, там, там, там – стук.
Звук однорукый, хлоп.
Перед входящим возникает кот-

Обормот. Это так вязко течет время,
Без устали и с оттенком синестезии.
Дама с камелиями в домино

Куртуазно обеспечивает белизну
Ляжки. Тем временем город
Поглощает самого себя в центре

Внимания. Школяры на кухне
Штудируют талмуд под взглядом
Таможенника Руссо с плаката.

Пространство сужается, перестает
Быть. Время улетело на острова.
Бормотуха ноябрьских дней

Предвещает мягкую зиму.
Я отстранилась от себя.
Где моя отчизна?

Надо мною вертятся души
Непогребенных туземцев.
С чего бы это? Не проси

Прощения, всё равно всё устаканится,
Процесс в обратном порядке на исходе.
Отсутствие рвения – это тоже

Отношение. Ой, не говори, не говори.
Старый дом молчит. Снегопад
За стенами звенит гулом

Собственного забвения. Небо
Отражает речные потоки,
Кристаллизируется. Метафизически



Определив свое место под ударом
Моего подсознания. Логос,
Не тяни меня за язык!

Он же все равно меня уже довел
До града Киева, логова змиева.
Только какими путями, какими путями...

ПУТЕМ КАБОТАЖНОГО ПЛАВАНИЯ

И неведомо мне куда
Я тащусь, без компаса,
Морскими путями,
Каботажным плаванием,
Вдоль Элады ль, Колхиды ль,
Не отрываясь от берега.
Гуськом за греками,
Затаив дыхание,
Прикусив губу я.

Из далека все равно зависит
Твой взор рядом с огнестрельным оружием
Варягов. Волнующий запах отчаяния
Проступает в этом необъятном краю,
Через пеплом покрытый чернозем.
Но, увы, не оторваться мне
От берега, ибо меня уже занесло
Под скалами на каменистый
Берег Херсонеса, возле храма.

Ежедневно я роняю бисер
По забытой береговой тропе
Вдоль черноморских утесов
В сторону дач на Батилимане,
Где похоронена моя тетя Светлана
В четырехлетнем возрасте, в 1918 году,
И написан был Билибиным портрет
Моей овдовевшей бабушки.
Какое еще другое право
Существует у меня для вида на
Жительство в этой стране призраков?
Поэтому, из-за необходимости,

По пятам Ифигении тавридской,
Я совершаю жертвоприношение.

Обволакивающим взором
Я изучала изгибы тела
Атласа по берегам, по его бокам,
По краям и тропам полуострова.
И обшарила я весь его профиль
В поиске рун, руин, ручки,
Золотого руна. Пока не нашла

Под бугром Атласового плеча
Присутствие отсутствия. Рифмы.
Однажды она замыкала мои словеса – все.
Черным по белому написала я иной
Строкой, «вером» освобожденным.
И вышла я из берегов как река,
Белым шумом, эхом моря,
Можжевеловой песнью,
Сопровождающими мое итак
Бесконечное каботажное плавание.

ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ

Соколиный зов завис
Надо ль передо мной
Обратным знаком.

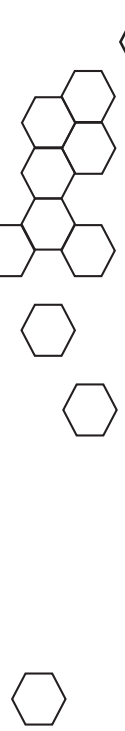
Взвейтесь, взвейтесь...
А я покамест подожду
У края оврага, все.

Ибо Трипольем я приползла
Под тополиным пухом,
Овладевая морями, горами.

Один океан я трижды
Пересекала навиром,
С сундуками, блохами.

Я боюсь тебя, родина моя,
Ты окутана проволокой,
Вся в шипах да колючках.





Обойду я тебя, однако,
Твой колпак мне мешает.
Я без строя привыкла шагать.

Через бета-страну я мотаюсь,
Мне не жаль, не грущу я.
Ты смотри, не зови,

Не откликнусь я больше,
Ни на зов, ни на голос,
Ни за что, никому.

Больше нет у меня сил
На ответные реакции
К безответным слогам.

Не солгу, не солю я
Твои свежие хлеба.
Без оглядки откланявшись,

Прозябая на грани я,
В катакомбных дыханиях,
Проповедаю гущами

Недопитого кофе,
Через раз забывая,
Чего просит судьба.

Проступает ненастье,
Заводное такое,
Бесполезного чада.

Как из битника, разве
В челобитника можно
Превратиться за век.

Отступи ты безбожник,
Без сапог ты сапожник,
Вяло рифму дрочащий.

Через древнюю ограду
Я ступаю так складно,
Будто я – вездеход.

Под оградой – граница,
Почему мне не спится?
Перестала я знать.

Где любимый Атлантик?
Дюны, приливы, отливы,
Крабы, омары, медузы.

Не пересчитать ни флору,
Ни фауну. Одних гусей
Сколько не хватает, столько

Не бывает. На выворот
Видимо нарываясь, шея
Зависла над палубой.

Горизонт более величавый,
Чем вертикаль. Как по мне
Он мерный, верный, везде-

Сущий. Отрекаюсь я
Повторно, что ли?
От тайги, тундры, сопок?

Ш-ш-ш! Не болтай! За углом
СМЕРШ 2, р-е-п-а-
Триационная комиссия,

Инквизиция, персона
Нон грата, и т.д., и т.п.,
Бля. Брат Плутоний

Плутония плутонием,
Дескать, вышибает
Клин клином.

Пойди и разберись, кто
Кого, без очевидного
Фейс-контроля? А?

Бес попутал, не отступает.
Главка разведки догоняет
Его моторкаду. Произвол.



Смена декораций, маски,
Свет, сцена, один чорт.
Одни тролли чего стоят.

За шеломами материк,
Изображающий суровое
Материнство. Дескать,

Мы вас всех в котлован,
Под один колпак. Долю
Приглашаем разделить,

Соборно, круговой
Порукой. Засучив рукава,
Сделать вздох. Исход.

Киев, февраль 2013



ЧУДЕСА ПОЯВЛЯЮТСЯ БЛИЖЕ К УТРУ


Анна РЕВЯКИНА

Чудеса зарождаются не в решете,
а где-то в районе малого таза.
Выписывают кульбиты, примеряют души и строят планы.
– Я обязательно появлюсь, первое, что скажу: «Mother».
Может быть: «Mutter», а может быть, русское: «Мама».
Для этих чудес готовят рюши, комнаты и имена предков,
хотя они согласны случаться
без всех этих взрослых странностей.
Маленькие, проворные, встречающиеся клетки –
решение проблем вечности и одинокой старости.
Чудеса появляются ближе к утру,
нарушая тикающую тишину,
открывают глаза впервые под яркой лампой,
не шурясь даже.
Ещё помнят, как Он ласково трепал по затылку:
«Я провожу!»
– А как меня назовут?
– Мама вчера настаивала, что Сашей.
Чудеса остаются с нами, целуют в ухо мокро и горячо,
болтают вздор, ногами болтают
на стуле высококом, не падая.
А вечером устало ложатся щекой на грудь или на плечо
и просят долго рассказывать, где начинается радуга.

У мамы Анны два сына – Иосиф и Александр.

Первенец в честь курчавого арапчонка,
тростью по мостовой – ямбы.
Любит кинжальное и гладкоствольное,
боится блондинов и поседевших рано.*
Маленький Сашенька всюду за юбкой
нянькиной. Так и привык волочиться.

* Кофейная гадалщица немка Александра Кирхгоф за два десятилетия до трагедии, оборвавшей жизнь великого русского поэта, предсказала ему смерть от белой головы. На тридцать седьмом году жизни Александр Сергеевич встретился с Дантесом, который носил белый мундир и был белокур от рождения. Продолжение истории вы знаете.



Наряжается – идеальной глубины шлица,
мягкий шарф, кажется, как придётся,
на деле же идеально выверено.


Кудрявому мальчику быть настигнутым –
киноварь для блузы батистовой.

The second boy – в честь великого портретиста,
изгнанного из круга.

В кильватере его судна – суд, беременная подруга
и занавесь подождённая всегдашнего посвящения –
Морскому Безумию.

Морская Болезнь – истощение.*

Четверть века любить одну и ту же русалку,
приходить умирать на один и тот же остров.



Нараспев разговаривает Иосиф
и пишет ничуть не хуже первого сына.
Из далекой Америки письма для Анны:

«Мама, у нас здесь много воды,
безо всякой посуды. Как твоя простуда?
Мама, я для них всегда буду иноверцем.
Страдаю сердцем и себя выкуриваю из себя же,
так же, как меня выкуривали, отсекали лишним».

У Анны два сына – Иосиф и Александр –
зачитанные мальчишки.

Мальчик, согнувшись над словарём
с неподъёмными, английскими словами,
управляет невидимым кораблём
с бирюзовыми парусами.
Ветер развеивает его волосы – ржаные,
пахнущие йодом и пылью,
треплет щёки, в полотнищах крыльев
шепчет на легко-дающемся-всем-мальчикам языке.

О пиратах, бурях, сокровищах, странствиях.

Мальчик-паинька, сидит смирно, честно водит
по буквам пальчиком.

И учит ненавистный, взрослыми общепризнанный.

– Мамочка, спроси меня, как это будет на капитанском.

Мамочка, не ругай за плохо выученный английский.

* Значительная часть стихотворений Иосифа Бродского имеет посвящение М.Б. – Марине Басмановой.

Телефонная будка на краю улицы,
бегали баловаться наугад,
от геройства жмуриться.
Отвечает, как правило, тот, кто не виноват.
А я прячу глаза – огромные пуговицы аниме.
Анемичная девочка: разбито колено, угольное каре.
Голубое платье старшей давно сестры –
богини! Её же серьги – пластмассовые шары.
Убегаю навстречу бабушке, возвращаюсь –
в подоле первые вишни.
Бабушка вслед: «Раскосая, моя хорошая,
как бы чего не вышло!»
А я такая загорело-медовая, угловатая,
в сентябре девять.
На тонких плечиках родинки, перламутровые ногтики.
Жёлтые лодки-качели в небо
высоко взлетают, тает лето, в мороженом подбородок.
Все стороны света открыты настезь.
– Пойдём купаться?
Мальчишки – белозубое воинство!
Пигмейского роста...
День не должен заканчиваться, всегда начинаться,
свет стекает за горизонт в семь двадцать.
И вспыхивает наутро, растекается,
как блины к завтраку на сковороде.
– Просыпайся!
Бабушка ласково гладит шершавыми пальцами по спине.

Я тебе не тычу под нос свою непохожесть,
не сую в карман, под локоть, в ладошку пальцы.
Ты – бессонный допинг земных страдальцев,
амплитуда крупной коленной дрожи.
Ты – мой самый строгий экзаменатор,
надсекаешь воду: «О чём ты пишешь?»
У тебя такие глаза, мальчишка.
У меня из сердца конгломераты,
обобщённость точных теорий боли.
Я стихи читаю трём сотням хмурых –
вся сумбурность мыслей под страхом пули
из точёных линий, ворсинок фальши.

Я пишу стихи для тебя, не дальше!
Не одобришь – пепел, одобришь – сборник.
Из кругов во мне нарастают волны
от твоих камней, близорукий мальчик.

– Ма, не буди!
Овсянка и чай с вареньем остынут пусть.
Жёлтые бигуди – солнышки воскресений.
За окном снег и его скрижальный хруст.
Тостер звонит, кран льёт воду холодную.
В ванной всё слишком белое, однородное.
Как эта зима без оттепелей – односложная зима;
наитупейшим скальпелем водит по коже,
выступает хранителем,
универсальным сгибателем в позу зародыша.
Чуть дышать, чуть двигаться, чуть любить.
Парочкой хромосом, не впавших в кому.
И легонечко так кровить,
чтоб излишки слить..
У зимы ядрёные идиомы.
Без шелухи, саморезами в шейные позвонки,
в горло, в запястья, в голени.
Дни тесны, как мои виски.
– Мамочка, не буди! До полдника.

Между креслом и стулом – лава.
Сыновья, заливаясь дружно,
устроили переправу.
Уже сорок минут, как дружат.
Пол скрипящий их жаром лижет,
пыль вокруг вековая вьётся,
в ней пружинящие мальчишки.
– Тише, бабушка вдруг проснётся.
Два угла уже плачут просом,
и ремень подползает коброй.
У них будет протечка носом.
Мы разделимся: злой и добрый.
И накажем обоих вместе:
– Ты за дело, а ты за брата!

Они выглядят в гулком детстве,
как нашкодившие котята.
От площадки и до рогатки –
всё невинно и всё виновно.
Их курносые в детстве пятки
скоро станут черствы и ровны...

Идеальный сын – это всё-таки дочь.
Поиграет в посудку, мелки толочь –
будет вкусно в пластмассе варить супы.
На запястье браслеты из найденной чепухи.
Куклу в клетчатом платье выведет погулять.
Идеальный сын – это дочка, которой пять.
Не боится ничуть щекотки и темноты,
может ляпнуть гостю: «Хороший ты!»
Засмеяться, увидев бабочку и щенка.
Расплатившись купюрой сорванного листа
за колечко из проволоки и брошь,
закатить глаза: «Слишком дорого отдаёшь!»
Заменить на пуговицы взгляд фиолетовому коту,
заменяла бы и настоящему – на слепоту.
Чтобы точно понять устройство чужих планет.
Идеальный сын – это дочь в восемнадцать лет.
Из безделиц складывается наряд,
про неё то бездельница, то красавица говорят.
Кислород из воздуха вышел в дождь.
Добротой ли плавят людскую злость?
По ночам на пьальцах – арпеджио для иглы.
Идеальный сын – это дочь и её стихи.



Мария ПАНЧЕХИНА

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ГРИГОРИЯ БРАЙНИНА

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ЭССЕ

1. ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ

...В историю современной донецкой литературы, если таковую когда-нибудь удастся зафиксировать, Григорий Брайнин не вошёл, – въехал. Первая книжка автора называется «Перевоз». Она увидела свет в 1994 году и была отмечена предисловием Натальи Хаткиной: «Не явления сравниваются друг с другом – но взаимопревращаются равноправные миры. Перетекающая друг в друга, они образуют замкнутое кольцо метаморфоз – новое многоуровневое объёмное пространство», – пишет Хаткина.

Сам же автор исходную точку творчества обозначил легко и как бы вскользь, подчёркивая не столько физику, сколько метафизику переживаемой местности:

*Набросай мне место своей судьбы –
это Город.*

Пруды натягают овалы глянца.

На чёрных винтах

набухают сланцы,

центр тяжести выбрасывая из шахт.

Узнаваемый Город – с вывернутыми наизнанку породами, с особой подземельной жизнью и вздёрнутыми к небу терриконами – вдруг оказался вполне поэтическим, словно действительно сменился центр тяжести или, как сказали бы всезнающие философы, изменилась парадигма. Когда это произошло? Вероятно, когда в стенах одной школы встретились Григорий Брайнин и Алексей Парщиков. В одном из интервью Брайнин, уже после смерти своего двойника, скажет: «Местность сыграла свою положительную роль – и был своеобразный всплеск, например, поэзия Парщикова. Парщиков зарядился именно здесь, зарядился этой степью...» («Дикое поле», 2009, №13). Такие слова вполне могут быть применимы к творчеству двух

поэтов; тем более, если учитывать неслучайные сходства в плетении текстов и жизненных линий. Спустя десятки лет, разбросанные огромными расстояниями, двойники всё же не утратили своей первоначальной связи: она действительно была и силится, проистекала из наполовину забытого, наполовину реального пространства. Так возник – вслед за олитературенным Донецком – образ его окрестностей; за чёрными угольными горами виднелись меловые.

«Славяногорск». Два стихотворения с одинаковым названием. Точнее было бы сказать: два одинаковых стихотворения. По стилю и силе, по точности и магизму фонетики. Несколько лет назад А. А. Кораблёв в своём альманахе «Дикое поле» провёл эксперимент: «Славяногорски» Брайнина и Парщикова помещались без подписей, а искушённым читателям предлагалось определить автора. Сможем ли мы сделать это сейчас?..

*Это маковый сон – состязание крови
с покоем меловым, как сирена.*

*И чудится: ртутный атлас облегает до глянца
пространство земли волевого,
где вершится распад,
согревающий небо и нас.*

*Там катается солнце – сей круг,
подавившийся кругом, металлический крот,
научившийся верить теням, и трещит его плоть,
и визжит искрородно под плугом,
и возносится вверх, грохоча
по дубовым корням.*

*Мел лениво струился на тёмно-зелёных холмах,
закипая звенел, словно нити накала; казалось,
что стальная полоска реки, распрямляясь
в стоящих часах, за секунду, как взрыв,
бесконечность разложит на малость.*

*И когда б не пружинистость вздыбленных почв
в равновесии с небом, заброшенный сад
за оврагом стал засадой покоя, где, сияясь
покой превозмочь, вековые стволы
обливаются илистой влагой.*

2. ДОМ ПОЭТА

...Парщиков уехал из Донецка навсегда. Человек был подобен мощнейшему взрыву, который в окружении единомышленников зарождал – нет, не культуру, а что-то иное. Что именно – пояснит Брайнин, называя формирование поэтической среды в промышленном мегаполисе «концептуальным дебилизмом»: «Дебилизм превратился в мировоззренческую концепцию и породил течение в поэзии. Оказалось, что и в других городах он вызревал, но так ярко для меня не проявлялся. В том классе, где учился Алёша Парщиков, дебилизм стал совершенной формой познания и общей оценки» («Дикое поле», 2009, №13). «Другие города» – это, видимо, известные центры: Москва, Питер. Они пленили Григория Брайнина, задавали вектор развития, но судьбе угодно было поселить его у необычной Чёрной речки, – Кальмиуса.

*Мне кажется, что мир живёт во мне –
течёт река, по зеркалу на дне
моей души, в поверхности двоясь,
проложена блистательная связь
между вещами.*

Если когда-нибудь историки или теоретики литературы станут писать исследование по творчеству этого поэта, то нужно начинать не с эстетики или поэтики, а с узловых точек пространства, с семантики местности. Вот та самая школа №2, ранее на её месте было кладбище; здесь ученики находили человеческие кости и знаки отличия немецких офицеров. Думается, именно в этих местах и стоило бы искать первоисток «вещественной метафоры», или же «метаметафоры» (К. Кедров), о которой говорят критики в контексте малоизученной литературы конкретного периода. Пространство как бы определяет человека, помещает его в собственные границы, наконец, подсказывает, как существовать в мире.

Есть внутреннее соответствие и неслучайное совпадение в том, что Григорий Брайнин некоторое время жил в опасной близости от филологического факультета – всего-то через дорогу от университетского здания. Поэт всегда знает о природе творчества неизмеримо больше и точнее, чем его интерпретаторы, даже такие идеальные, как профессиональные филологи. Поэзия – опыт, тип мышления, образ жизни... Здесь, в околофилфаковской квартирке, автор занимался своим тайным ремеслом, – добыванием звука, теорией звуковоспроизведения. Будучи физиком, кандидатом технических наук, он видит в этом явлении некий первоисток сущего, материю, которая стремится воздействовать на мир.

*От энергии звука пузырьки легчайшего газа
возникают в крови –
это смертельно для водолаза,
летающего ввысь.*

Сейчас поэт живёт на улице с говорящим названием: Таврическая. Мысль о том, что творчество – это своего рода печать (то есть: тавро), подтверждается и, видимо, только усиливается с ходом времени. Здесь, у едва ли не мифической Чёрной речки, стоит дом. «Дом культуры», – поясняет собственное жилище с настоящим грифоном на входе Брайнин. Название соответствующее: тут собираются лучшие литераторы, музыканты, критики, издатели, трегеры; не менее концептуальные, чем те, которые только начинали организовывать среду. Разумеется, сейчас слишком рано говорить о том, что эта среда вполне оформилась: напротив, она кристаллизуется и становится плодотворной.

...После большого перерыва – больше десятилетия – Григорий Брайнин начал писать стихи. В их гипнотической фонетике эхом отзывается смерть Алексея Парщикова; как будто одна фигура прошла сквозь другую, слилась до неразличения и, выдыхая угольную пыль, дала миру то, чего от донецких никто и не ждал, – Поэзию.

*Набросай мне место своей судьбы –
это Город.
Пруды напрягают овалы глянца.
На чёрных винтах
набухают сланцы,*

центр тяжести выбрасывая из шахт.
Можно летать вниз от полутора до трёх часов,
разгребая руками воспоминания детства –
негативы, выворачивающие покров
наизнанку, вычитают ветви
по своему подобию, как футляр.
Город наверху отражается в полировке
касок, распирающих земной шар,
как подшипник в разрезе. С кровью
в унисон от вибрации тел
скважина вытягивает дно глазницы.
Словно маятник, горсть черноты мне снится,
из ночи в ночь перемальвая предел.
Набросай мне место своей судьбы:
этот ракурс и небо в замке-застёжке,
осторожно пробуешь под носком гранит –
как клубочек пыли,
подъём звенит,
заостряясь, как солнечный фокус в коже.





Григорий БРАЙНИН

МИР НАПОЛНЕН ТОБОЙ И СОБОЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мой путь назад – оптический обман:
и пение сирен, и ветер в вантах,
Итака, горизонт, и царский сан,
и этот пульс в висках, как стук пуантов.

И это не балет... Вот вновь река и берег.
Твой поцелуй вибрирует во мне.
Его сберечь нельзя. Повторами проверить –
опять нельзя. Дрожит лишь тень на дне.

На дне чего, скажи, – души, ума, пространства,
где память прячется в светящихся сосудах?
И снова целый мир с собачьим постоянством
целует сам себя в теченьи суток.

ВОЛНЫ

1.
Держась друг друга по привычке,
бредут нестройными рядами
овечек белые сестрички
по 200 миль между портами.

И, кажется, сквозь буквы шрифта
проступит шум прибрежной гальки,
рифмуя пену волн над рифом
в капризные изломы кальки.

Таверен фадо и фламенко
в тугие кудри южной ночи
вплетают терпкий вкус измены,
уж слышен говор, виден почерк...

И все ужимки школы флирта
во впадинах между волнами
утопят всех потомков Флинта
и отшлифуют каждый камень.

2.
Издалеку они как текст
арабской вязи.
Совместный бег для них лишь тест
на общность фазы.

Но берег близится, и нет
иного моря.
Встав во весь рост, пропускают свет
и гибнут вскоре.

Им ускользнуть бы дырой в заборе –
и кто б искал.
Да только прыгнут обратно в море
с прибрежных скал.

В атаке шельфа они прекрасны,
набег – их труд.
Они лишь жертвы стихийной страсти,
и так умрут.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР

Это дует восток. Он поет свою дикую песню.
И металл шевелится в натянутых струнах углов.
И живет этот вой, и летает в пустом поднебесье,
и кишит в пустоте, и густеет, как песня без слов.

И свистают птенцы. Их мамы витают в испуге,
и зигзагами крыльев туманных грозят наказать.
И живет эта стая в просветах невидимой вьюги –
То ли снег, то ли дым, то ли влаги прозрачная стать.

А летела на юг. Как летела на юг, недодрога!
Впереди вожаки освещали в пространстве свой след.
В их прозрачных телах обитали незримые боги,
излучая в пространство в пространстве невидимый свет...



КАРАДАГ II

I

Световые лучи огибают преграды из скал.
Отраженья и тени пугают нездешней свободой.
В темных складках материи спит первобытный оскал
и зовет за собой в аскетический мир непогоды.

Он остался стоять корневищем, проросшим сквозь клей
первобытных камней. Он – застывший фонтан плиоцена.
Камень шел против камня, и в этом походе камней
смерть сразилась со смертью и обе лежат на арене.

Друзы пота сверкают в зазорах их каменных тел,
яшмы мышц и агаты зубов и кальциты скелетов.
Кто коснулся их раньше, конечно, окаменел.
Это каменный гость Дон Хуана, а может, разбойник Иван,
это памятник камню, горбатой судьбы караван,
эхо вечных вопросов и вечное эхо ответов...

II

Чтобы здесь утвердиться, нужна исполинская власть.
Нужно школу Магриба пройти или книгу читать Аль Азиф,
или к Римской волчицы сосцам первородным припасть,
или камень священный вкатить на скалу, как Сизиф.

Лабиринт Вавилонских развалин пройти по мосту,
или в тайных пещерах Мемфиса огонь отыскать.
Это сказочный город колонн, это дверь в пустоту,
Островок Заратустры, где только костры разжигать.

Где Дагон пучеглазый вздыхает в расселинах шхер,
может, рыба, а может – лягушка, а может – дракон,
где шогготы снесут протоплазму из темных пещер
в этот хаос ползучий, в котором не писан закон.

Это Сет или Тот смог одеться в любую из форм,
чтобы точку найти, где расходятся тело и дух,
чтоб исчезнуть как вор и пройти заградительный форт,
и проникнуть в Ирам, и спуститься с моста в пустоту.

Повторенья судьбы угрожают налетами гарпий,
Так Лаура зрит в зеркале время, текущее в ней.

Это след от улитки, сползающей с ногтя Петрарки
продолжает свой путь по границе воды и камней...

III

Мы пришли к нему ночью. Как призрак он вышел навстречу,
и, чернея как туча, сгустился во тьме.

Отражения звезд в море стоят, как свечи,
и готический абрис его в островерхой кайме.

Мы стоим перед ним. Мачты маятник, где бы не был,
от Медведицы к Кассиопее прочертит путь.

Опрокинувшись на спину в море купается небо,
то тягуче, как мед, то дробится в воде, как ртуть.

IV

Мы потом возвращались в то место, где солнце зашло,
и еще далеко до его появления с Востока.

Только рыбы прибой о темное бьются стекло,
догоняя друг друга в светящихся струях потока.

Только всплески хвостов на поверхности пенят среду,
под которой несутся во тьме мускулистые стаи.

Можно только представить незримую их красоту
в затвердевших моделях их тел из стекла или стали.

Мы летим над водой. В небесах виден каждый карат.
Ты в ту ночь аномально-магнитна для зренья, как тир,
но космический ветер уносит твой образ, как эхо в горах,
и ловить бесполезно, как солнечный зайчик в горсти.

Вот и все. Нужен проигрыш. Слышно ударник и тему.

С контрабаса слетают летучие мыши басов.

За спиной Карадаг нависает над прошлым, как демон —
черный бархат пустот, оболочки несбывшихся снов...



УБИТЫЙ

он похож на солдата вдохнувшего газ фосген
он застыл в судороге как снятый с подставки манекен
и волосы стали ему чужими ветер их шевелит
и взгляд его ему не принадлежит
он в последний раз произнес твое имя
и стал похож на фото где он же бежит

и казалось жизнь отделилась от его тела как дубль
который пошел дальше бросив тела скафандр
мог бы гордо в горы уйти как сван
но он осел стал таять и пошел на убыль
как в анекдоте снегурочка в детском саду
а двойник его вероятно уже в аду

он видит себя на фронтах мировой войны
впитывающим пули посередине чужой страны
или дрожит изломанный в переменном токе его изгибает и пучит
наконец успокаивается и твердеет как свастика
а ты мне сказала несчастный случай
нас спасают быт и гимнастика

он остался висеть на колючей проволоке
конечностями обозначив вертикаль
его тело тащили по снегу волоком
в глазах небесный хрусталь

но может быть все не так
ты можешь остаться в живых место вакантно
на поле битвы алеет мак
бессмертной любви и звучит бельканто

наши тела обнявшись спящие звери
восход солнца над городом мог бы звучать григ

но это кот он и закрытые двери
несовместимы кот мог бы сказать но переходит на крик

золото солнца вокруг тебя не охота вставать и может не надо
не барское это дело вставать когда хорошо не вставать

за океаном в канзасе раскручивается торнадо
за стеной у соседей поскрипывает кровать

видишь сейчас за окном не дует а только светит
здесь такая сегодня погода тишина и покой

а помнишь вчера за серым окном был ветер
а сегодня только солнце над головой

что говорить когда нечего говорить может шаги за сценой
мы лежим опрокинувшись в утренний свет мир наполнен тобой и собой

это может быть григ может быть кот на твоих коленях
такое сегодня утро проснись и пой

а ты помнишь ты помнишь такое бывало в детстве
мы уже лежали вот так же а вокруг дежавю

я не припомню ни дату ни время ни место
но только помню мы были уже в раю



Анна ЩЕРБАКОВА

ТУННЕЛЬ

Если бы вдруг возник вопрос: – Нравится ли мне жить в туннеле? – вряд ли я смог бы определённо ответить на него.

– А вам нравится жить там, где вы живёте?

Те, кого мучает данная тема, мечутся по миру в поисках места, где им было бы хорошо, но редко его находят. Да, возможно частичное утешение – спорить не берусь, либо улучшение какой-либо сферы жизни, но найти место, где есть возможность ощутить полный комфорт «на все сто!» – невероятно трудно.

Зная это, я жил своей спокойной жизнью, не задумываясь над этими вопросами, пока не встретил...

Вы замечали невысокие дверцы в стенах туннелей, проносясь с бешеной скоростью мимо них на машине или автобусе рядом с узенькими тротуарами? Скорее всего, вы считали эти дверцы входом в служебные помещения, и, видимо, никогда не задумывались, что там может кто-нибудь жить...

Вы, конечно, правы! Но на самом деле это целый отдельный мир – нас, живущих в несметном количестве горных туннелей. Нас, заменивших давно исчезнувшее на земле племя горных гномов. Правда, мы ничего не производим, не вкапываемся в глубины гор в поисках руды, не добываем драгоценности и т.д. Мы просто живём в этих местах, наблюдая за порядком на своих отрезках дорог.

У меня здесь, в «моем туннеле», есть несколько соседей, с которыми можно перекинуться словом, если вдруг станет грустно, либо просто зайти на чай или что-нибудь покрепче. На моей стороне живёт пожилая пара, а у последней двери, которая давно пустовала, недавно появилась молодая очень серьёзная женщина: она ходит с постоянно задумчивым видом и здоровается едва заметным кивком, будто остерегаясь потерять что-то очень важное, видимо, находящееся на её голове.

На противоположной же стороне справа, давно, за много времени до меня поселилась СС – Сумасшедшая Старушка, с которой мы часто ведём длинные беседы и пьём чай. Старушка очень любит гостей, но

ввиду её странностей пожилая пара перестала заходить к ней в последнее время, и только я один остался верным посетителем чайных церемоний.

Живёт справа! Я сейчас сказал «справа», но это просто давняя привычка! Тут в туннеле такие слова, как «право-лево», «день-ночь», времена года и, главное, само время – не имеют никакого значения. Это там, снаружи... Но как это бывает снаружи, я уже за ненадобностью забыл.

Что ещё вам рассказать о нашей жизни? Наш туннель очень длинный, и каждый отвечает за участок дороги от своей двери до двери соседа, хотя этого нам никто никогда не поручал.

Здесь часто появляются люди в униформах: они приходят небольшими группками, переговариваясь негромкими голосами, и так же тихо исчезают в сумрачном свете, проверив щитовые и прочие неотъемлемые атрибуты освещения, которые расположены за дверью у каждого из нас. Удивительно, но дальше прихожей, в которой кроме рубильников хранятся и другие различные инструменты, они никогда не заходят, будто вообще не замечая нашего присутствия...

Жизнь в сумеречном свете плывёт спокойно и размеренно, мимо непрерывным потоком несутся машины, создавая иллюзию вечного существования...

В тот момент, когда Мирра ворвалась в мою жизнь, я собирался идти пить чай к СС – Сумасшедшей Старушке. Чем она занималась всё своё время, и чем жила, я точно не знал. Возможно, что-то писала, я видел много разбросанных бумаг и множество всевозможных ручек. Возможно, читала – у неё было много книг... А может быть, она вязала что-нибудь, например, тёплые носки и длинные шарфы, из тёмно-серой пушистой пряжи, мотки которой висели в её жилище везде, где только было возможно, и груды валялись по всему занимаемому ею пространству, хотя со спицами или крючком для вязания я ещё ни разу её не видел.

– Зачем тебе такое количество ниток? – поинтересовался как-то вскользь. Мне не было дела до её занятий, в конце концов, каждый из нас проводил время по-своему, но пряжа, валяющаяся везде, уже не давала мне дышать, с каждым глотком чая попадая в горло.

Старушка, ехидно улыбнувшись, ловко перевела разговор на другую тему. Она любила «делать вид». Любила делать вид, что вяжет, что ужасно занята, что знает и умеет что-то такое необыкновенно таинственное, о чём мы тут, случайно рядом с ней живущие, не имеем ни малейшего понятия и более того – мешаем доводить её великие мысли и идеи до совершенства, вторгаясь не вовремя на её территорию.

Но это была её жизнь и право, хотя подчиняться такому распорядку и положению вещей вряд ли кто-нибудь согласился бы. Видимо, поэтому в данный период её жизни я и остался в единичном варианте.

Пройдя уже небольшой отрезок тротуара и собираясь перейти на противоположную сторону, где жила СС, я услышал страшный скрежет и понял, что с пролетевшей навстречу на бешеной скорости машиной дымчато-серебристого цвета что-то случилось.

Обернувшись, я увидел, что она резко затормозила у моей двери: переднее колесо её отлетело в сторону, и машина чудом не врезалась в стену туннеля. Оставив мысли о чае и времени в обществе Сумасшедшей Старушки, я не раздумывая бросился на помощь.

Толкая изнутри искореженную, прижатую к тротуару дверцу, из груды металла пыталась выбраться женщина. Я помог ей открыть то, что осталось от разбитой дверцы, и протянул руку.

Когда она вышла, мне показалось, что в туннеле стало вдвое светлее: лампочки, до этого тускло горящие, заискрились, словно прожектора, осветив высокую, немного угловатую фигуру, длинные шёлковые волосы зеленовато-русого цвета и удивительные глаза, напомнившие мне что-то далёкое и забытое из жизни до туннеля.

– Вы в порядке? Хотите чаю? Я живу тут, за этой дверью, – робко предложил я. С этой минуты мне резко перехотелось идти к СС.

– Чаю? – удивлённо покосилась она в мою сторону, терзая мобильный телефон. – Да, спасибо! Ведь я вас даже не поблагодарила за помощь! – И, покачав головой, задумчиво пробормотала: – Разве здесь можно жить? А от чаю не откажусь. Ещё раз благодарю вас.

Она долго разглядывала моё пространство, с удивлением обронив:

– А у Вас уютно... Давно вы здесь? – обвела взглядом жилище.

– Не помню...

– Не помните? А как вы здесь оказались?

– После войны.

– После какой войны? – не отставала она.

– Не помню... Какая разница... Война есть война. Чем они отличаются друг от друга? Только более совершенной техникой и более изощрённым способом уничтожения людей?

– Вы правы... – помолчав, согласно кивнула головой женщина. – А дальше что?

– Дальше авария в этом туннеле... Но это было ничто в сравнении с тем, что видел и пережил там... Там, где нет ни дня, ни ночи, где небо смешивается с землёй, где всё пространство наполнено вселенским ужасом, которому нет имени, злобой отчаяния и бесконечной болью... Там, где мы разговариваем на таком языке, который заставляет содрогнуться мирных людей. Там, где одного за другим теряешь друзей и, постепенно тупея, тоже становишься машиной для убийства, уничтожая людей и терзая ни в чём не повинную бедную землю...

Когда это произошло со мной, я имею в виду аварию, – я просто вышел из машины, пошёл по туннелю и, увидев эту дверь, толкнул её. С тех пор я живу здесь...

– Вас никто не искал? А машина, ведь вы оставили её на месте?

– Машина взорвалась...

Она допила чай и печально смотрела в сторону, остановив взгляд на одной из моих любимых книг. Не знаю, о чём она думала, так пристально вглядываясь в рисунок на обложке.

Не став искать причину своей откровенности, я рассказал ей о жизни в туннеле: о своих соседях, включая СС, которая, возможно, уже не раз подогревала чайник, ожидая моего визита; и о том, что горные дороги и туннели – это свой особый мир, через ходы и пещеры которого можно пробраться довольно далеко, и найти кого-нибудь нового, если хочешь пообщаться с кем-нибудь, кто живёт в других таких же местах. Рассказывал о чудесах этого мира: о скалах, пропастях, подземных гротах-

городах, созданных без вмешательства и присутствия людей, о подземных реках и удивительных пещерных озёрах.

– На самом деле, нет проблемы найти путь к чему-то или кому-то, кого действительно хочешь видеть, – закончил я свой рассказ.

– Меня зовут Мирра, – просто сказала она и взяла меня за руку. – И я думаю, мы скоро увидимся, если вы не возражаете... Мне пора.

Действительно, за дверью раздался шум подъехавшей машины. Я провёл её до выхода, и Мирра ободряюще улыбнулась мне, зацепившись головой за перекладину низкой двери... Груды металла на прежнем месте уже не было.

Подумав, что пошло довольно много времени и СС меня уже не ждёт, я решил остаться дома. Привычные действия стали раздражать меня – я думал о Мирре. Новый человек, женщина, так внезапно ворвавшаяся в мою жизнь, занимала теперь большую часть моих мыслей.

– Кто она? Откуда и куда направлялась? Ведь о себе она так ничего и не рассказала, только задавала вопросы и слушала! – думал я.

А в нашем сумеречном мире время шло по-прежнему медленно. Мирра больше не появлялась, и я стал забывать о ней. Все так же, как и раньше, я следил за своим участком дороги, всё так же иногда заглядывал на чай к Сумасшедшей Старушке. И вдруг заметил, что с той происходит что-то странное. В её выходки, прежде казавшиеся наивно милыми и смешными, прокралось что-то злобное, в глазах, почему-то ставших крапчатыми, как перепелиные яйца, метались искры безумия, прячась за шальной улыбкой, и весь её облик, замотанный в тёмную пряжу, свисающую со всех сторон наподобие лохматых крыльев, стал приобретать черты нетопыря – летучей мыши!

Потом исчезла пожилая пара, долгое время жившая за соседней дверью. Мне ужасно не хватало наших частых встреч и разговоров на тротуаре. Приятно было видеть, как они, взявшись за руки, медленно бредут навстречу мне, о чём-то постоянно беседуя и осторожно поправляя, тёплые полосатые шали на плечах друг друга...

– О чём можно говорить, прожив так долго вместе? – думал я. – Ведь всё давным-давно переговорено! – Но они, видимо, до сих пор находили темы для обсуждения, а возможно, делились общими воспоминаниями... Как бы там ни было, но мне не хватало их, а моя серьёзная соседка вообще не вступала в контакт ни со мной, ни тем более с СС, осторожно обходя ту стороной, когда случайно встречала её в сумерках туннеля.

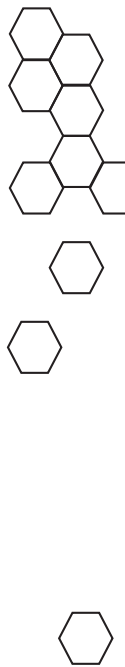
– Вижу, здесь гостей не ждут! – услышал внезапно звучный голос за спиной.

Мирра улыбалась, заняв весь проем моей, как я уже говорил, невысокой двери. Это было очень неожиданно, радостно и странно. Ведь я действительно перестал ждать её, давно не веря обещаниям.

– Очень была занята! – жизнерадостно сообщила она и, пригнувшись, прошла в жилище.

– А где же чай?

Я засуетился. Всё почему-то падало из рук и попадало не на свои места. Мирра с любопытством наблюдала за моими действиями. И когда я, наконец, пришел в нормальное состояние спросила:



– Ты помнишь что-нибудь из своей жизни до туннеля, ну, кроме войны, конечно... Родителей, друзей, может быть? – дав этим понять, что не забывала о своём существовании.

– Очень смутно, как размытые образы. Помню, что были, а вот какие они... – нет. А почему ты об этом спрашиваешь?

– Значит, уже пора... – задумчиво обронила она.

– Что пора? О чём ты? – удивился я. Трудно было понять эту женщину.

Поднявшись из-за стола, она подошла ко мне почти вплотную и пристально посмотрела в глаза.

– Пора выходить отсюда – из туннеля... Ты очень умён и красив. Твое место там... – она махнула рукой в неопределённом направлении. – Таким ты и там будешь, правда...

– Мирра, это ты очень красива! – осмелел я.

– Потому что часто улыбаюсь тебе, а вообще-то бываю очень разной, – серьёзно ответила она. – Да зачем я сейчас говорю об этом – пожалала плечами – сам всё увидишь и поймёшь...

Идём, идём за мной!

Решительно взяв за руку, Мирра, почти силой вытащила меня в туннель и, секунду помешкав, плотно закрыла за нами дверь.

– Постой, я же ничего не взяла! Как обойдусь без привычных вещей? – совсем растерялся я.

– Всё, что тебе понадобится, у тебя давно есть... – тихо ответила она и размашистой походкой двинулась вперёд, не отпуская мою руку.

Не помню, сколько времени заняла наша ходьба, но вдруг я стал улавливать какие-то звуки, шумы, запахи и внезапно оказался впереди Мирры.

– Иди, не бойся и помни о том, что я сказала: всё, что надо – у тебя с собой!

Внезапно я ощутил, что она легко толкнула меня в спину, и вылетел из туннеля...

С высокой скалы, на которой я очутился, открывался удивительный вид. Впереди, сквозь серебристую зелень оливковых деревьев, мягко переливаясь, светилось море.

– Иди сюда, сюда, ко мне... – слышал его завлекающий шепот. Из моря, медленно и грациозно отряхиваясь, лениво вынырнуло солнце, обхватив, обняв первыми лучами необозримый хрусталь бирюзовой воды.

– Мирра, где ты? – позвал, оглядываясь по сторонам.

– Мирра, Мирр, Мир... – ответило эхо и улетело, затерявшись на вершинах гор.

И вдруг понял, что Мирра растворилась в этой утренней дымке. Это её глаза, разрез и цвет которых был похож на молодые листья деревьев, улыбались мне отовсюду; её шелковые волосы легли длинными прядями зелёной травы на склонах гор; её лицо сияло радостью в нежных, только распустившихся олеандр...

От увиденной красоты стало трудно дышать – это была Жизнь, о которой я знал всё и не знал ничего! Она острой болью вошла в мою грудь и, собрав последние силы, закрыв на секунду глаза, я громко вскрикнул, стараясь вытолкнуть криком эту раздирающую боль наружу...

Раскрыл глаза и понял – я родился!

ЯК ПРОКИДАЄТЬСЯ СВІТЛА ВОДА

Анна МАЛІГОН

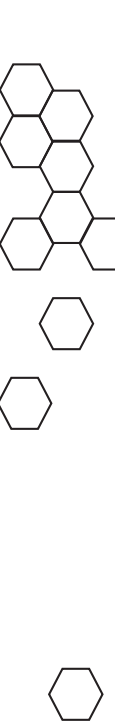
Допливемо до осені – там – ні кінця ні краю, і все буде так, як було до того.
Тихо ступати мокрими камінцями,
підкрадатись до тебе, полохливого, золотого,
заснулого за своїм планшетом...
і спитати на вушко: ану, відгадай, кому ти
вчора так ясно шкірився із каюти,
і ні духом пройти, ані тілом не оминути
бірюзово-солоний шепіт...

*Бачиш, такі ми, глибинні самки –
зводимо потай підводні замки,
міцно стягуйте ваші сіті –
будете ситі.*

Допливемо до осені – в кожного свій місточок,
свій листочок на палубі та минуле.
Ти сказав «перетнемось», а замість точки
перетину – темний автограф кулі.
Замість жити – безвихідно заживати,
висипатись піском із волосся, а з ока – сіллю.
Це каміння зійшло, це – жнива, ти
не лякайся: я буду ніжно тебе зшивати,
час буде легко тебе зжирати –
бачили очі, що сіяли...

*Бачиш, такі ми, сирітські стебла,
квітка вгорі запашна і тепла
довге коріння цупке й терпляче –
риба не плаче.*

Допливемо до осені – осінь тебе забрала,
тут бо, на дні – ні календарика, ні дзвіночка,
тільки входи та виходи у коралах,
та загублений твій ланцюжок лоскоче
спину, коли повертаюся... душу, коли виходжу...
В тебе – мантри нові у плеєрі, маєчки на полицях,
губи твої у солоді й небиліцях,
і навкруги – дурнувато-уважні лиця,
й захват – у кожнім...



*Бачиш, такі ми, віримо в осінь,
тільки схопили – здається, ось він,
а між плавцями уже спокійно
дихає піна...*

Ще їх нема... А вона стоїть, заворожена,
іній злизує,
іще їхня ніч не окреслена, не зароджена,
не зачата ще під білизою,
неозора і затажна...

У нього – своя столиця, своя корона, своя війна –
а в неї демон у профілі пише стежку,
яку проходять лише удвох.
І струменить холодком по стегнах
все, що вночі посилає Бог.

Ще їх нема... Він сидить, очі в полум'ї
утопивши...
Перешіптує
рухи її, наче руни, перераховує
дні, відколи вона не пише.
І стоять снігопади між ним і Прагою.
Серце кривиться, бреше святою правдою
і засмоктує його, втягує
глибше... глибше...

Ще їх нема...

Коли вже немає чого сказати
і стіни товстішають, а простір
звужується і тисне,
спробуй закрити очі й побачити,
як прокидається світла вода
у темно-смарагдових заростях,
як час розповзається по ній колами,
і як стійко тримає ті кола зрубане дерево
лицем – до неба.

Так і живуть: час, вода та дерева...
А сказане – то відтінки,

постріли в небо, трісочки на воді.
Так і лежи – не розплющуй очі,
доки лоскітні стебла
глибинних рослин
не проб'ються крізь твою плоть
у царство жовтих маленьких рибок –
уламків місяця молодого...
Їм не болить мовчання.
А коли стіни потонуть
разом зі стелею,
ти побачиш, як вони всі заговорять:
стежини повільної гусені – по листках,
тоненькі пташині лапки – по білому піску,
прохолодні лисячі нори – крізь соснові кореневища...
Відпустиш пам'ять – і попливеш,
наче новонароджений
у життя...

І ніяких тобі конвертів, перепусток, телеграм,
ані меду – в чай, ані kota – під бік.
Не сховаєшся – всі побачать, як ти програв.
Не зламаєшся – значить, здається, звук.

І тікати б – та незручні валізи, хоч і легкі
ніхто не зрушить із місця без чайових.
То ж сиди собі тихо. Навчися плести ляльки, –
вони, ти ж знаєш, живіші за всіх живих.

А одна – то нічого, у цьому ковчезі пар
не потрібно – тут кожен господар собі, лакей.
А ще звідси видно, як рідшає мокрий парк,
як він ховає в землю своїх дітей.

І ніяких тобі сніжинок, смайликів і сердець,
наче місто цвіло і... вицвіло. Загубивсь
шарф – і хрипко з гортані прорвався Вейс,
але глибоко в грудях надовго лишилися Бітлз.



Ані згорнути, як полотно, пропахле нічними травами,
ані сховати, як молочного зуба в кишеню халатика,
ані вирвати, як набряклу маківку із чорнозему божевілья,
ані спалити, як батьківську хату, де давно ніхто не живе, лише тіні проклять.

А носити його в голові, наче найбезнадійніший задум,
жити з ним – ловлячи кінчиками волосся таку відчутну його відсутність
Позаду, попереду себе – як вітер, що підступно збиває з ніг –
та на людях – так соромно впасти...

Недоглянута батьківщина підіймається – не з колін –
а з прокуреного матрацу, – повертає патлату голову й каже:
«І не мрій, він ще ніколи не був так від тебе далеко –
все, що маєш – пачка снодійного – бо у снах його легше зловити,
хоч і важче утримати...

Бачиш – все, що лишилось тобі – крихти, піщинки у складках одягу,
мідна музика спільних ранків, лабіринти підземок, де ви губились,
а потім раптово знаходились – це і в ньому колись проросте,
просто він ще нічого не втратив».

Недоглянута батьківщина викидає ще теплі шприци своїм дітям під ноги,
відчуває, як тромби смутку мандрують голодними венами, як дорожчає хліб
і сміється вижовкле молоко у важких посудинах часу...

Ані вимкнути світло, коли ти пожадливо підступаєш,
ані прогнати тебе, ані стерпіти –
залишається тільки брати губами свіжість, переплетену з димом,
брати так ніжно, як тільки міг би ти мене брати
там, на краєчку свого безлюдного світу,
де нема ні прихильників, ні ворогів.
І тільки чути, як падають кедри у сніг.

У нас – одна на двох недозріла відвертість,
одна розгублена пісня, одна невідмолена батьківщина.

Ані згорнути, ані сховати, ані вирвати, ані спалити.
А кедри все падають...

АЛЬБОМИ

А пам'ятаєш, як наша кімната наповнювалася сутінками
і починала гойдатися, наче яблуко перед падінням?
Вилазили сиві вужі зі схованок, з усіх шпарин і куточків,

і відбитки патлатих соняхів сходили зі шпалер,
а порцелянові слоники ворушилися на полицях,
як білі миші...

А хто накривався тоді з головою?

Напевно, ніхто.

Бо ми – сміливі, слухняні, хороші діти,
знали уже тоді, що таке темрява
й кого вона може забрати.

У кожному з нас жив свій потайний домовик,
якого весь час потрібно було годувати,
щоб не дай боже не втік,
бо в кого тоді б ми вірили?

У наших альбомах мирно собі поживали
ящірки, змії, жуки, кажани та нічні метелики –
з перебільшеними очима і людськими посмішками,
з ніжними ворсинками чи перламутровою шкірою,
такі близькі та знайомі,
аж допоки ніч не заповнить кімнату...

Кого ти тоді найбільше боявся?

Напевно, того, Невидимого,
що тільки приходить і забирає,
не лишаючи навіть слідів.

Кого найбільше боялась я?

Мабуть, нікого. Хіба того, що
слоники розіб'ються або
яблуко раптом не втримається і впаде...

У дні золотистих трав і блакитного молока
ми вперше побачили, як
під розкритим сонцем
підступно

людей забирає темрява:
спочатку – бабу Уляну, потім – сусідського Шурку,
сорокарічного алкаша,
далі – нашого братика нерожденного...

І вперше

ми не змогли накритися
з головою.

P.S. Дороженька, коли мене душить скажене безсоння,
я дістаю альбоми, які ти прислала торік.

Вони пахнуть морем, аеропортом і... яблуками.



Владимир ВЕРЛОКА**ПУТЕШЕСТВИЕ В ...**

(ЮЖНЫЙ АЛЬБОМ)

*...Харьковский университет...
не стоит курской ресторации*
А. Пушкин, «Путешествие в Арзрум»

*...еще неизвестно,
кто большой кочевник:
тот ли, кто кочует в пространстве,
или тот, кто кочует во времени.*
И. Бродский, «Путешествие в Стамбул»

Привычка ездить летом на юг не объяснима никакими разумными основаниями. Впрочем, можно считать ее просто пережитком кочевой жизни, неведомо как сохранившимся у современного человека. Крохотные соображения здоровья и рудиментарное любопытство, как станет понятно из дальнейшего, тоже совершенно не в счет. И дело здесь не в том, что юг вполне замусорен, а в том, что совесть сапиенса перед всеми теми, кого он будто бы опередил на побегушках эволюции, остаётся нечиста. Вот почему человек стремится поближе к экватору – в грязь и толчею, спеша навестить своих дальних одноклеточных и кишечнорастворимых родственников.

Слово «юг» тоже не следует понимать уж очень буквально, ибо именно эти места Овидий называл крайним севером, местностью скорби и тоски, где разумному человеку делать совершенно нечего. Но теперешнему приезжему на это наплевать, ведь писем с Понта он никому не пишет.

Южный вокзал с башенкой, часами, классическими розами, несъедобными чебуреками и нескончаемым моздиновым «подвезти недорого». Безличный падеж – верный признак южного гостеприимства, оно же – жульничество. Но на самом деле это местная шутка, фольклор, ритуал. А возят тут втридорога, и часто совсем не туда, куда скажешь. Но не всё ли равно, куда ехать? Можно, конечно, крикнуть «земля!», но когда приближаешься к берегу со стороны суши, это кажется не очень-то убедительным.

И вот приезжий люд, как вода из душа (которого ему теперь долго не видать!), растекается отсюда в разные стороны по мелким, почти одинаковым городишкам. Именно тут происходит таинственное превращение всякого прибывающего в отдыхающего – очень просто устроенное существо, своего рода *tabula rasa*, лишенное врожденных, впрочем, как и любых других идей. Отдыхающий – это чистый лист, на котором местные стихии моря, солнца, кухни, транспорта и сервиса начертают свои письма. Жить на юге хорошо, но выжить – трудно. Южная, то есть абсолютно негегелевская диалектика, позволяющая соединить эти две задачи, и называется отдыхом.

Снова едем. Долгая дорога петляет среди чуть покачивающихся женственных холмов. Предвечерняя дорожная дрема. Не сон, а дрема, когда цветной простор течет сквозь полузакрытые веки и земля поет вполголоса, соблюдая все знаки форте и пиано, расставленные вдоль дороги. Постепенно ее тема становится более напористой, почти бравурной, и вот дорога уже сочится сквозь романтическое аллегро. Сверху налетает что-то мокрое и совершенно застигает и без того плохо различимый путь, воруя последние крохи пейзажа. Так что маленький, потерявшийся в низине южный городишко, как иголку в этом стоге каменного сена, находишь почти наощупь.

Слово СУДАК грозит уму какой-то безудержной, буйной этимологией. Суда. К. СУД-АК. Судок, мудака, коньяк. Б-рррр, какой ужас! Из пустого желудка в усталую голову лезет всякая чушь. Элементарная мысль о том, что это все-таки рыба, опаздывает, будто твоя житомирская электричка. Впрочем, нет, мысль вообще не приходит, а вот рыбу действительно принесли, а сам ты сидишь в ресторанчике и ужинаешь чего Бог послал, а повар приготовил. А потом медленно бредешь, вполуха ловя обрывки разговоров и мелодий, что доносятся из бесчисленных заведений, куда об эту пору и стремится народ выпить-закусить. Набережная в огнях и голосах похожа на шкалу старого (теперь таких, кажется, не делают) радиоприемника, а сам ты – на стрелочку, которая движется от станции к станции. И шум тут почти такой же. Это шорох самого пространства. Ведь недаром говорил Пифагор, что оси Вселенной хотя и построены по идеальным законам, а все равно слегка поскрипывают. Уже совсем сквозь сон подумашь – а вот ведь хороший был день. День один.

Среди ночи просыпаешься, разбуженный тишиной...

А вот и местная достопримечательность – Генуэзская крепость. Не просто так, а действительно крепость, со стеной, башнями и рвом. Внутри слоняются без дела совершенно настоящие генуэзцы в полном снаряжении – римский шлем, древнерусские кольчуги времен Александра Невского, кроссовки на босу ногу и прочий средневековый *second hand*. Им жарко, нечего делать, и они шлют эсэмэски в далекую, милую сердцу Геную. Кругом все та же курортная братия, внимающая вдохновенным фантазиям экскурсоводов, вещающих о подвигах верных патриотов этой земли, бесстрашно боровшихся друг с другом за священное право создавать тут свои – достаточно разнообразные государства. Согласно законам жанра, брехня должна быть патриотичной и занимательной. История это всегда трагедия, но распространяется преимущественно в форме анекдотов. За дополнительную плату в полдоллара тебе по большому секрету покажут тот самый ножичек, которым Приам зарезал Редедю

или наоборот – точно никто не помнит. Ножичек давно не точен, так что можешь спать спокойно...

Средневековье кажется стыдливым. На фоне достигнутой совершенства и почти в одночасье истаявшей античности оно будто притворяется неловким, неумелым. Простенький орнамент по фризу, горлышко кувшина, дверная ручка, угловатое распятие – все это будто говорит: не на меня смотри – туда, дальше... Там, за крепостью, куда утомленный пивом и достопримечательностями курортник обычно не добредает, – старинная романская базилика – десятый, кажется, век. Чудо из чудес. Очень похоже на обычную трансформаторную будку, такая местная подстанция Святого Духа. Стоит прямо посреди двора, вокруг – голуби да собаки. Солнце опускается в еле заметную отсюда прорезь горизонта. Взгляд местного Полкана печально-укоризненный, мол, каких доказательств бытия Божия тебе ещё надобно?

Еда на курорте – дело особое, и о ней – отдельный разговор. Собственно, человек здесь не ест только тогда, когда он спит. Но сверх того есть еще завтрак, обед и ужин. Чуть за полдень небо затягивают киношные облачка, сеется бутафорский дождик, вследствие чего даже самый тупой курортник вполне способен догадаться, что пора бы пообедать. И слегка одетый народец разбредается по многочисленным полу- или почтивосточным ресторанчикам.

Время тут течет в другую сторону (то есть из мрачного будущего в светлое прошлое), да и то почти незаметно. Поэтому в противоположность столичным торопливым бистро, где и присесть не на что, тут едят полулёжа. На юге любая книга кажется слегка кулинарной, а меню – это прямо-таки Писание от Шеф-Повара, и читать его следует со вниманием. Мера съедобности всякого блюда зависит не от законов природы, а от хитростей кулинарного чернокнижия. Но истинный курортник да уверует, что все приготовленное – съедобно.

Для того чтобы насытиться и при этом остаться живым, требуется мужество, смекалка и солидная филологическая подготовка. Названия блюд в меню таинственны, как суры Корана, и неправильное их истолкование может привести к неправым последствиям. Впрочем, человек, вынужденный каждый день выбирать между голодом и отравой, начинает смотреть на жизнь действительно философски. Вспоминаю, как несколько лет тому назад, также на юге, в поместье одного тирана мне пришлось столкнуться с экзотической, или, как теперь говорят, экстремальной кухней. Тиран давно умер, но его приказа травить приезжих никто не отменял. Тогда одна маленькая девочка сказала мне: «Но ведь умереть от лапши – это звучит как-то глупо». Разве можно с этим не согласиться?

Жильё – или, как здесь пишут на заборах, «ночлег» – это местная сезонная религия, со своим культом, жрецами, символикой и жертвоприношениями. Пытаться разобраться в ней – дело непосильное. Лучше найти себе место так, чтобы места много не занимать – ни в пространстве, ни, что более важно, в мыслях окружающих. Тело это все равно вещь, а значит, у него должна быть упаковка. Нанимаешь что-нибудь не слишком страшное. В первый же вечер, разумеется, за чаем знакомишься с соседями, да за разговорами и песнями едва знакомые люди становятся уже вроде родственников. Через день-два уйти из дома, никого не предупредив, уже

как-то неловко. Оставляешь записочки: ушел туда-то, постараюсь быть не поздно. Если задерживаешься – звонишь, чтоб не волновались. Или когда кого-то из домочадцев долго нет, сам волнуешься, выходишь встречать на перекресток, а встретив, ласково сердисься, мол, где вас черти носили. Откуда это берется? А через день говоришь кому-то ещё вчера незнакомому: «Пошли домой...»

Кстати, здесь есть море. О нем у нас пока не было случая упомянуть. Впрочем, если не знать о нем заранее, его можно так и не заметить. Несмотря на то, что в музеях, да и вообще повсюду всё утыкано Айвазовским, самым точным изображением моря следует признать дупль «пусто-пусто». Море ни на что не похоже, и многих это раздражает.

Демократия, как не сказано у Аристотеля, уместна только на пляже. Здесь каждому во власть дается ровно столько пространства, сколько занимает его собственная тень плюс тень от панамы. Больше не положено, да и не нужно. Это и есть справедливость. Кроме того, раздетые люди выглядят и ведут себя почти одинаково, как и должно быть в идеальном государстве. Жуют, читают и думают они также примерно одно и то же. Человек мочит себя в море, подставляет солнцу и мажет кремами. Парадоксально, но он – тоже дичь, которая, правда, жарит сама себя. Человек становится смуглее, но едва ли от этого лучше. Впрочем, при демократии право на самообман гарантируется и охраняется всеми законами. Они для того и придуманы.

Но напрасно думать, что у этого процесса нет обратной стороны. Среди людей раздетых попадают люди одетые. Это местные жители, они работают тогда и именно потому, что другие отдыхают. Выкрикивая в морской простор отдельные слова, например «самса», «пахлава», «чебурек», они прохаживаются среди человеческого лежбища, высматривая пляжника, созревшего для того, чтобы выложить монетку за эти труднопроизносимые, но вполне доступные лакомства. Они похожи на стервятников среди поля битвы, хотя, скорее всего, сами этого не понимают. Преследуя собственную выгоду, они опять-таки содействуют эволюции. Вот как это все толково устроено.

Мои вкусы в литературе просты до банального. Имея дурацкую привычку читать повсюду, я люблю книги, которые помещаются в карман. Желательно, чтоб они были зеленого цвета. Почему так – и сам не знаю. Таких книг я взял с собой две. Одна – это путевые заметки Марко Поло. Его дядя – Николо Поло – бывал в этих местах, и я по наивности стал искать на старых камнях оставленные им надписи, что-то наподобие «Здесь был...». Чтобы хулиганство превратилось в культурную ценность, достаточно каких-то семисот лет.

Книга Марко Поло – это первый и вполне толковый учебник по маркетингу. Описывая разные страны, он в первую очередь говорит о том, что полезно знать для того, чтоб удачно вести торговлю. Между тем такой подход ничуть не портит стиля и пишет Поло действительно хорошо. По возвращении на родину Марко Поло засадили в тюрьму, причем не совсем понятно за что. Может быть, именно затем, чтоб он написал книгу.

Вторая книга это «Новеллино» – сборник средневековых анекдотов, из которых потом возник «Декамерон». Читать такие книги полезно, так как понимаешь, что в прошлом люди были не глупее и не черствее нас. Об авторе этой книги известно



только то, что его взгляд, как писателя, внимателен, а стиль письма изящен. Но и этого довольно...

Марсель Пруст тоже зеленого цвета, но в карман не помещается. Поэтому он мне нравится меньше...

Жанр автобиографической прозы сложен хотя бы уже потому, что в нем автор не может по своему усмотрению поквитаться с героем, пожертвовать его, как пешку, ради качества сюжета. Для этого в известном смысле пришлось бы выйти за пределы текста.

Но как ни крути, а там, где нет совсем никого намека на смерть, там ни один рассказ не клеится. Как-то мы с моими спутниками надумали посетить соседний поселок, где находится местная достопримечательность – могила известного поэта. Совсем не желая разделить его судьбу, мы наняли пожилого татарина на столь же пожилой колыхаге. Извините уж, в породах автомобилей я разбираюсь примерно так же, как средний автолюбитель в породах лошадей. Татарин, разумеется, был рад подзаработать и первую часть пути кормил нас безобидными краеведческими байками, каких найдется с десяток в арсенале каждого местного водилы. Слово за слово, наш Вергилий сообразил, что мы не совсем простые пляжники, и с нами можно говорить о вещах посерьезнее. Когда дорога пошла в горы, мы поняли, что полнотражной лекции по местной истории нам не миновать так же, как не миновать и тысячи поворотов горного пути, витиеватого, как рассказ татарина.

Добрый читатель! Представь себе пожилого размахивающего руками акына, поющего свою песню за рулем старенькой таратайки, и троих насмерть перепуганных пассажиров, ясно осознавших, что они навечно станут частью этой истории, если не сейчас, то на следующем повороте. Иногда жизнь становится уж слишком похожей на кино. В конце концов, и в том и в другом случае нам хочется узнать, чем дело кончится.

Люди и вправду думают, что пишут историю. Но чаще всего получается география.

Мы доехали, то есть остались живы. С точки зрения драматургии это, конечно, слабый ход. Место, куда мы приехали, называется Коктебель. Происхождение этого топонима также туманно. Впрочем, тут опять-таки как с классическими граблями – наступаешь на фонетику и получаешь по башке семантикой. В доме-музее поэта очередной хищник-экскурсовод, от которого нам не удалось спрятаться, с гордостью сообщил, что некий экспонат подарен музею сестрами такими-то, старыми коктебелками. Услышав это, я мгновенно вышел из музея. Я решил, что на сегодня впечатлений достаточно. А спорить как-то не хотелось...

Могила поэта – на диком холме, по которому от ближайшей харчевни брести в гору минут сорок. Пока доберешься – упреешь и, понятное дело, ни о чем кроме поэзии думать уже не можешь. Вровень с его макушкой над морем летают парапланы – это такие цветные штуки, которые умеют почти неподвижно висеть в воздухе. Будто кто-то чистил разноцветный апельсин и швырнул очистки на ветер – да они так и зависли. Может быть, когда никто не видит, некто сверху переставляет эти холмы, так же ловко, как вокзальный жулик двигает свои наперстки. Поэтому угадать, под

которым из них лежит поэт совершенно невозможно. Внезапно подумалось – а как-то тут зимой...

Овидий был совершенно прав – тут действительно нечего делать. По вечерам скучающий люд вываливает на набережную, которая нескончаемой нитью тянется сквозь все прибрежные поселки. Кроме шашлыка и простеньких аттракционов – никаких развлечений. Питейные заведения обычно повернуты к морю глухой стеной, так что увидеть его нельзя, но зато снаряжены какой-нибудь простенькой морской символикой – якорями, полосатыми майками и ненациональными тризубами, словом, всем, что средний отдыхающий, никогда моря и не нюхавший, способен узнать без труда. Поначалу возможность быть одуроченным так запросто меня, честно говоря, как-то обижала. Но вдруг в моей голове сложилась четкая пропорция, посредством которой все встало на свои места. Взглянув на праздную вечернюю толпу, я сообразил – как море колышет ракушки и мелкую гальку, научая ее как быть округлой, так и это море звуков и запахов колышет гальку человеческую, приучая не требовать многого. А стало быть – все хорошо.

Тот же вокзал с башенкой две недели спустя. Сдаю багаж в камеру хранения и лениво (на юге привыкаешь думать медленно) пытаюсь сообразить, что случилось за это время. В том-то и дело, что ничего. И слава Богу!

Полтора часа до поезда. Налегке плетусь посмотреть хоть кусочек города – ведь не сидеть же на вокзале. С удивлением чужестранца разглядываю людей, троллейбусы, объявления. Кто-то видит это каждый день а я – впервые. В напользающих сумерках бестактно заглядываю в зажигающиеся окна. Конечно, не худо бы и тут завести знакомства, зайти к кому-нибудь в гости.

Впрочем, неожиданно почти так оно и получилось. Уже на обратном пути мне попала церквушка, устроенная в плохо приспособленном для этого помещении – то ли бывший Дом культуры, то ли танцкласс. Служитель уже собирался запереть дверь, но любезно согласился впустить меня ненадолго, заметив, что обратиться к Богу никогда не поздно. «И вправду, – подумал я, – вот Кто ценит неожиданных гостей издалека». В церковной полутьме, едва подсвеченной двумя-тремя далекими лампадками, мне показалось, что Некто и вправду впустил меня в Свое Царствие. Не за какие-нибудь заслуги, а просто так, из собственной любезности. Мне часто случалось наблюдать, как люди, даже поклоняясь Богу, все-таки думают о Нем плохо. Потому, даже если не очень верить, Ему все-таки невозможно не сочувствовать.

Задумавшись обо всем этом, по рассеянности я забыл в привокзальном кафе свою кепку-бейсболку. Ладно, заберу ее в следующий раз. Куда она денется....

*Вокруг тебя течет цветной простор
И волны гальку обучают ласке,
И розовые спинки дальних гор
Подрагивают с детской опаской.*

*А маленький приморский городок –
Влюбленный и рассерженный мальчишка –*

*Буянит, пьет вино, зубрит урок
Прощанья, затянувшегося слишком.*

*А ты ему: Не бойся, Бог с тобой.
Как стих Гомера, катится прибой,
И август оставляет свет на коже.*

*Медлительно вращаются холмы,
И в зное есть предчувствие зимы.
И ты стоишь, на море не похожий.*

Сентябрь 2003 – январь 2004



ГЕОГРАФИЯ ДУШИ

Константин ИЛЬНИЦКИЙ

Константин Ильницкий считает, что ему повезло. Жизнь и работа (он редактор двух морских журналов, директор издательства) позволяют ему путешествовать. Не случайно в его первой книге стихов «Географии разрез», вышедшей в 2011 году в Одессе, немало произведений было написано в дальних странствиях.

Но как убедится наш читатель, взглянув на предлагаемую подборку таких стихотворений, зарубежные красоты чаще всего – лишь хороший повод, чтобы заглянуть в себя, разобраться в «географии» собственной души, неотделимой от проблем нашей жизни.

ГРАНАДА

Если не знали любви, в сердце Гранады не суйтесь.
Злое молчанье земли сторожит под оливами супесь.
Страсти зелёный побег обращается чёрной маслиной.
Едкая горечь измен присыпана красною глиной.

Если не знали любви, бедное сердце прогоркло.
Злое молчанье земли сторожит под оливами Лорка.
Как уберечь от судьбы? Даже поэты не в силах.
Горьки оливы твои. Эй, Федерико Гарсия.

Злое молчанье земли сторожу вот и я под гранатом.
Красные зёрна зари расщепляю за атомом атом.
Красные зёрна зари падают в вешние струи.
Кровотечение земли пальцами я нарисую.

Если не знали любви, тихо заплачет гитара.
Звонкие воды струит под Аль Касабою Дарро.
Мерный гитарный прибор – горькое кардиосредство.
Это как к Богу домой,
это как мама и детство.

Гранада, 2009 г.



ПАРОХОДИК «ЛАММЕ ГУДЗАК»*

Меж человеком и природой
не ощутим здесь промежуток.
И «Ламме Гудзак» – пароходик
едва расталкивает уток.

И пароходик «Ламме» басом
продует две свои трубы,
и ветряки поднимут разом
мосты над дамбой на дыбы.

Наш пароходик якорь бросит.
И рой туристов не вникал,
что имя он на баке носит
обжоры, плута, шутника.

Да разве Богу кто угоден?!
Ведь день за днем или в ночи
мы все приходим и... уходим.
А неохота — хоть кричи.

И замкнут круг, с ума он сводит.
Но как бы ни было мне грустно,
я чую – «Ламме» – пароходик
в душе нащупывает русло.

О, этот славный «Ламме Гудзак».
Приняв на борт японских мачо,
он гаркнет им: «Банзай, якудза!»
И я от хохота заплачу.

Дамме, 2009 г.

* Ламме Гудзак – герой романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке».

ЧТОБЫ В ВЕНГРИЮ ВЛЮБИТЬСЯ

Чтобы в Венгрию влюбиться,
напролом, без церемоний,
лучше в Эгере напиться,
чем трезветь на Балатоне.

От вина никто не помер.
Может, где-то невзначай.
Наливай «Эгри Быкововер»,
распугавший янычар*.

Лучше в Эгере с бокалом
быть с народом, что попроще.
Вместе разбудить вокалом
пьяным рыночную площадь.

Побрататься со шпаною
и, скандалы навлекая,
убежать с чужой женою
за бутылкою «Токая».

Чтобы в лица эти влиться,
в этот праздник, в это лето,
лучше в Эгере напиться
и уснуть под минаретом.

Эй, даёшь «Эгри Быкововер»,
он опять не подкачал.
От вина никто не помер.
Может, где-то невзначай.

2009 г.

* В 1552 г. 80-тысячная турецкая армия не сумела взять Эгер. Турки шептались, что стойкость защитников вызвана тем, что они пьют бычью кровь. А это было местное вино, названное с тех пор «эгерской бычьей кровью».

ДОЛИНОЙ ВАХАУ

Мы мчимся по трассе, кто там, догоняйте, а ну-ка.
Напор лошадей под капотом удержим с трудом.
Блуждающий дождик отсыпет нам порцию звуков,
всю капельность мира явив на стекле лобовом.

А рядом долиной Вахау, течение ускорив,
изведав не раз виноградной лозы нагоняй,
с буксирами, баржами, яхтами в давнишнем споре,
всю капельность мира в себя собирает Дунай.

Мы мчимся по трассе от зелени воздуха пьяны.
Бугрится Дунай среди замков, исполненных тайн.
А дальше – как чудо, как в капле воды – океаны,
всю сказочность мира плеснёт городок
Дюренштайн.

И что наши ахи в сравненье с самими веками,
когда понимаешь – у жизни другая цена:
окошко с багряной геранью, обветренный камень,
жужжанье осы на столе и стаканчик вина.

Дюренштайн, 2010 г.

ПАССАУ

Где глины Дуная мешаются с глинами Инна,
а Инн отдает свою долю подобно вассалу,
разрезанным тортом в соборах – свечах стеаринных
встречает гостей припозднившихся город Пассау.

Ножами десертными белые лайнеры служат.
Кто каменный пробует берег, кто просто песочек.
И сладостный запах кондитерских голову кружит.
Я тоже хочу этот город, отрежьте кусочек!

Пассау, 2010 г.

КОРОТКА ШЛЮБНА НІЧ

Ігор КРУЧИК

П'ЄСА-ГРОТЕСК НА 1 ДІЮ

Дійові особи:**Єва Браун**, білява бестія, коханка фюрера Німеччини.**Ханна Райч**, військовий пілот, капітан Люфтваффе.**Священик**, колишній в'язень Освенціма.**Роберт фон Грейм**, генерал-лейтенант Люфтваффе.**Адольф Гітлер** – фюрер, надлюдина.

Дія відбувається 29 квітня 1945 року в Берліні на вулиці Вільгельмштрассе у бункері під рейхсканцелярією фюрера.

У бункері – сама лише Єва Браун. На стіні висять карти, покреслені червоними й чорними олівцями. На столі хаотично розкидані папери. Кілька стільців хаотично розсунуті врзнобіч. Чути гупання бомб, постріли з гармат, кулеметні черги.

Єва Браун. Нарешті! Радість яка! Господи, скільки ж потрібно було часу... Подій, переживань... Аби мій Адольф, зрештою, припинив боятися! Тільки ми, жінки, сміливо йдемо назустріч цій події. І навіть намагаємося її всіляко наблизити! А чоловіки – боягузи. Він може заходити до розлюченого тигра у клітку або командувати танковими дивізіями, куди там твоєму Гудеріану... Але тремтітиме, як маленький віслучок, від одного тільки слова – «шлюб». Бо що для чоловіків найстрашніше? Законність сексу. Печатка у свідоцтві про одруження!

А ми? А я?.. Я стільки років з ним живу. Та кожного разу, коли треба разом вийти на люди – я бачу ці криві усмішки, читаю на пиках примітивні бюргерські думки: «О, гарненьку ж має Адольф сучку – Єву Браун!» Й лише тепер, коли Берлін майже захоплений військами антигітлерівської коаліції – я тріумфую. «Даменс тріумф» – непогана назва для цього моменту. Десь я чула цей вислів чи вчитала у жіночому журналі...

Звуки бомбардувань посилюються.

Єва Браун. Кінець світу! Отже, сьогодні – шлюбна ніч! (виймає люстерко, уважно себе розглядає). Єво, оце і є твоя справжня перемога. Перемога! Салют! Даменс триумф! Ти досягла того, чого завжди була варта.

Із стіни зненацька з'являється Адольф Гітлер.

Гітлер. Гутен таг! Моє вітання, білява пташечко.

Єва Браун. Ой! Так, так. Налякав, бісик. (Цілує Гітлера у вушко.) Ніяк не звикну до твоїх таємних криївок, мишоловок, чорних ходів.

Гітлер. ...І до не менш таємних зникнень? О, я такий. Мені приємно бути для тебе завжди неочікуваним сюрпризом. Та й хіба тільки для тебе? Ми, Гітлери, завжди були дещо гм... Неочікувано легковажними. Так би мовити, художня натура. Мистець!

Єва Браун. Майне лібен, мій любий Адику... Я так тобі вдячна.

Гітлер. Як своєму фюрерові? Чи як коханцеві?

Єва Браун. Я вдячна за юридичне визнання мого статусу – перед людьми й перед Богом.

Гітлер. Гм... Що сказати, твоя взяла. Як солдат я піднімаю руки. Й підкорююся своєму власному наказу, наказу Верховного Головнокомандувача сухопутних, морських і небесних сил Німеччини – негайно одружитися! Так, я знаю: шлюб – це війна, це ультиматум, це – шантаж чоловіка жінкою чи навпаки. Але наразі ти заштовхала мене у цей глухий кут, моя бестіє. (Цілує Єву.) Шлюб – це колесо, яке крутиться, крутиться, і ми у ньому крутимось мов білка у колесі. Й наче щось змінюється – а все одне й те саме. Словом, подружнє життя – це свастика! (Зітхає.) Що робити? Вибору в мене однак немає.

Єва Браун. Так. Ти правий, як завжди. Дякую за те, що я стану фрау Гітлер! О, яке чудове прізвище!

Гітлер. Можливо. Хоча я й не переконаний. Чудове? Гм... Мій тато, Алоїз Шикльгрубер, який мене породив, – теж, мабуть, відчував якусь контроверсивну нехить, навіть відразу до свого прізвища. А мій дід, тобто його вітчим Йоганн Гітлер, років тридцять, мабуть, дражнив пасинка «шикльгруберовим виродком»! А коли померла моя бабця Марія-Ханна Шикльгрубер, дід нарешті змилюстивився. «Я дам тобі, – сказав дід пасинкові, тобто моему татові, – дам тобі своє горде прізвище – Гітлер! Неси його, як пурпуровий прапор, через роки й віки. Пишайся ним. І хай твоя жінка і твої діти теж пишатимуться, промовляючи гордо й дивлячись у вічі людям чесно: ми – Гітлери!»

Єва Браун. Як зворушливо. Твій тато, тобто герр Алоїз – бідна дитина (*Схлипує, раптом впадає у сміх.*) Кілька днів тому, коли ми святкували твій день народження, – чому ти його не згадав? Не підняв за нього чарку шнапсу? І за діда... Я вже теж готова пишатися: «Я – Гітлер, чесна фрау Єва Гітлер». Ну то розпочинаймо? Якнайшвидше? Зроби мене, нарешті, Євою Гітлер, як колись зробив жінкою своє неповнолітнє курчатко... Ми ж обійдемося без священика?

Гітлер. Мовляв, навіщо у пеклі святий отець? Ха-ха, Євусенько, це був би чудовий взірець антинімецької пропаганди. О ні, цього я не дозволю навіть тобі. Ми не порушуватимемо усталений хід речей. Ордунг юбер алес! Порядок – над усе. Трохи зачекай. Буде і священик, і свідки, і шлюбний подарунок. Усе як годиться, майн лібен.

Єва Браун. Священик? Свідки? Але де ми їх знайдемо зараз?! Тут?!

Гітлер. Любасенько, твій фюрер, як годиться Головнокомандувачу, потурбувався про все-все-все. І про всіх. Управління військами, згоден, дещо зараз... гм... нечітке. Але це тимчасово... Як і все на світі. Фюрер усе вирішив. Зараз будуть свідки, вони вже на шляху до нас.

Замислено підходить до мапи, яка висить на стіні бункера.

Єва Браун. Я їх знаю?

Гітлер. Так, звісно. Дружка з твого боку це – капітан Ханна Райч. Пам'ятаєш, така руденька фройлян із аероклубу неподалік Оберзальцбурга, де ми взимку каталися на лижах і літали на романтичному фанерному планері? О, не фройлян – валькірія!

Єва Браун. Спершу на лижах, так, а потім на планері... Я тоді змерзла... Ти розтирав мені долоні снігом. Ми пили глінтвейн і шнапс у твоєму гірському штабі, в «Орлиному гнізді». Руденька? Так-так, пригадую... Метка й весела. Вона так сміливо посадила того планера у снігову кучугуру... Але ж вона зовсім ще гітлер'югенд! Й, здається, була лише унтер-офіцером.

Гітлер. Вже капітан. Війна швидко піднімає, надихає, окрилює! Особливо того, хто народжений у орлиному гнізді. І розставляє усе по своїх місцях. Я надав їй позачергове військове звання.

Єва Браун. А хто ж другий свідок?

Гітлер. Генерал-лейтенант Люфтваффе Роберт фон Грейм. Пригадуєш, мабуть, пілота Роберта з Мюнхена?

Єва Браун. А! Симпатичний такий, русявий. Він ще розповідав із захватом, як був у відрядженні у Японії.

Гітлер. Так, студював військову справу у школі камікадзе... десь під Хіросімою. Чи Фукусімою. Непогано студював, до речі. Бо Роберта навіть прийняв японський імператор і попросив передати мені подарунок.

Єва Браун. Який?

Гітлер. Прекрасний меч! Для старовинного обряду характері. Шкода, що я залишив його у своєму бункері під Вінницею. Кому він там потрібен?

Єва Браун. Але ж... По-моєму, у Роберта звання – лейтенант?.. Чи, може, вже теж капітан? Йому років двадцять п'ять, здається, не більше?

Гітлер. Не лейтенант і не капітан. Із сьогоднішнього дня – генерал-лейтенант Люфтваффе. Війна – це дріжджі, на яких піднімається усе органічне й справжнє!

Відчиняються зі скреготом металеві двері. У бункер втискується Роберт фон Грейм. Він поранений: рука напереваги, голова у бинтах. Клацає каблуками.

Роберт фон Грейм. Мій фюрере! Лейтенант Роберт фон Грейм за вашим наказом з'явився!

Гітлер. Генерал-лейтенант Люфтваффе.

Роберт фон Грейм. Не зрозумів?

Гітлер. Поздоровляю вас з присвоєнням позачергового військового звання, генерал-лейтенанте Роберте фон Грейм!

Роберт фон Грейм (отетеріло). Служу Третьому Рейху!

Гітлер. З цієї секунди, мій Роберте, ви призначаєтеся новим Головнокомандувачем військово-повітряних сил Третього Рейха! Фюрер наказує вам діяти негайно й нещадно. Бо Герінг, ця жирна тушка, цей перекинчик, не виправдав сподівань свого головнокомандувача. Він зрадив мене й наш Фатерлянд, пішов за моєю спиною на контакт із ворогом. Немає таких підступів, такого зрадництва, яких би я не випробував на собі. Присязі не вірні, честю дорожити не хочуть... Тому тепер на сторожі небес я ставлю вас.

Роберт фон Грейм. Служу Третьому Рейху! Але...

Гітлер. Що? Є якісь сумніви у наказах фюрера?! О, нині усюди замість вірності ми бачимо зраду принципам і присязі. Сумніви, зневіра – от що заважає нам рухатися правильним курсом. Лише Муссоліні, мій любий Муссоліні мене не продав, навіть коли його вішали за ноги на ліхтарному стовпі. А ви? Невже й ви теж сумніваєтеся, зраджувати фюрера чи ні?...

Роберт фон Грейм. Жодних сумнівів!

Гітлер (з погрозою). Тобто?!

Роберт фон Грейм. Звісно, ні! Не зраджувати за жодних обставин! Хайль. Я тільки хотів доповісти моєму фюрерові: усі військово-повітряні сили Третього Рейху на сьогодні – це один-єдиний літак «Фокке-вувль 190». Я щойно посадив його просто на вулиці Унтер ден Лінден під шквальним зенітним обстрілом супротивника. І не впевнений, що наш літак знову зможе піднятися у повітря – він весь у дірках від куль, мов друшляк.

Гітлер (патетично). Ні! Відставити песимізм. У Третього Рейха ще є літаки! Не сумнівайтесь, кажу вам – є! І будуть! Таємний аеродром під землею, під готелем «Адлон»... Там – незчисленна кількість фокке-вувльів з повним боєкомплектom! Дивізіон реактивних ракет «Фау-2»! Є ще герої, і є таємні сили, які нам допоможуть. Є, зрештою, небесні сили!

З-за тих-таки залізних дверей з'являється Священик у старій златаній сутані. Його супроводжує капітан Ханна Райч.

Ханна Райч (виструнчується). Мій фюрере, капітан Ханна Райч з'явилася! Ваш наказ виконано (вказує пістолетом на Священика).

Гітлер. А чого він такий худорлявий, змарнілий? І злий, як... чорт?

Ханна Райч (ховає у кобуру парабелум). Він кілька років відбував заслужене покарання в Освенцімі. Потім вагонзаком під конвоєм ми його доправили у Берлін. Конвой розбігся під час бомбардування... Але я вберегла священика! Якогось іншого знайти не вдалося.

Гітлер (передражнює). «Іншого священика у мене для вас немає...» Є тільки оцей? Ворог Третього Рейха?! Руйнівник німецької державності? А може, він на додачу ще й єврей? Слухай, отче, а ти часом не ребе?

Священик (злісно, стиха). Немає єліна чи юдея. Нещасний Адольфе, хіба ти не чуєш, як ревуть бомби й гармати? Ми йшли до тебе через Унтер дер Лінден. Берлін лежить у руїнах. На кожному ліхтарю висить по німцю. Чорний дим закриває небо наших надій. Німеччина перетворилася на браун шайзе... На шайзе браун...

Єва Браун. Як ви кажете?! Браун?

Священик. Так, звісно – на браун шайзе – тобто на купу коричневого фашистського лайна! Найбільший ворог німецької державності, найбільше браун шайзе – це ти, Гітлере.

Гітлер. Гм... А може, мені дійсно для конспірації узяти прізвище дружини – Адольф Браун? Що ж, Освенцім дійсно тебе вартий, отче. Саме для таких святенників, як ти, його й сотворив диявол! Тобто... Хтось із моїх надлюдей. Але наразі мені на якусь секундочку потрібен не слуга диявола, а його опонент. Фройлян капітан Ханна Райч пояснила тобі твою місію?

Священик (*гордо*). Мою місію я знаю, відколи фройлян капітан ще переховувалася в утробі своєї матері, як нині ви всі у цьому бункері. І своєї місії я не боюся!

Убік, пристрасно.

– Світ грішний і лежить у злі. На початку світу, у Божому раю, жили собі Адам і Єва. Потім согрешили. З часів первородного гріха світ тільки те й робив, що котився у прірву. Грішні Лейла і Меджнун. Грішні Ромео і Джульєтта. Грішні Гумберт Гумберт і Лоліта... І от на фініші, у пеклі, я бачу цю пару – як квінтесенцію первісного гріха. Але хай конає нещасний Берлін чи несеться під укіс весь нас грішний світ – шлюб ніщо не має похитнути. Ані на йоту. Бо це Закон божий: чоловік і жінка – це одна плоть. Навіть для таких істот, як Адольф і Єва. Адольф Гітлер і Єва Браун... Шайзе! Господи, пробач.

До Єви Браун і Гітлера.

– Перед тим, як брати шлюб, годилося б спершу висповідатися. Але я не хочу і фізично не можу слухати безкінечний реєстр ваших злодіянь перед Богом і людством. Тож хай до нескінченних вселенських гріхів додається й мій оцей: я вас вінчатиму... без сповіді. Хай вам грець. Амінь.

Єва Браун (*радісно*). Це ж правда, що так чи інакше шлюби укладаються на небесах?

Гітлер. О! Мила моя, ти вчасно нагадала про мій шлюбний подарунок. Не терпиться розказати. Небесний презент! Це літачок. Малесенький такий двомісний літак «Арадо-96». Це тобі від мого широкого фашистського серця! Ми обвінчаємося і вийдемо тасмним тунелем із рейхсканцелярії на вулицю Унтер дер Лінден. У затінку в'язів на нас чекає отой твій спортивний літак блакитного кольору, непомітний у небі. Там гарні крісла, оббиті шкурою полярного леопарда. Літак пілотуватиме наш доблесний генерал-лейтенант Роберт фон Грейм. Бачите, генерале, у нас ще є авіація! Є! Жодних сумнівів!

У бункер з грюкотом падає бомба. Осколком поранено генерала Роберта фон Грейм. Решта присутніх лише обтрушують пил і тиньк.

Генерал Роберт фон Грейм (стікаючи кров'ю). Мій фюрере... Партайгеноссе... Я не зможу пілотувати літак.

Гітлер. Чому? Невже ви таки відмовляєтеся виконувати накази вашого головнокомандувача?

Генерал Роберт фон Грейм (через силу). Боронь Боже! Я служу вам, Адольфе Гітлер, із усією своєю вірністю й відагою. Я клявся підкорятися фюрерові до смерті!.. Але зараз... просто неможливо злетіти. Вулицю Унтер дер Лінден розбомбовано вщент. Американські командос вже за кількасот метрів звідси. Триває наліт англійських бомбовозів, зі Сходу наш Рейхстаг вже обстрілюють радянські танки. До того ж я... я... (Вмирає).

Гітлер. Шикуйсь! Струнко!

Ева і капітан Ханна Райч виструнчуються, Священик скептично відходить убік.

– Генерал-лейтенат Люфтваффе Роберт фон Грейм за мужність і відданість Рейху нагороджується орденом Залізного Хреста! Посмертно. А літак... Його пілотуватиме капітан Ханна Райч. (Замріяно.) Нас не зіб'є зенітка. Не поцілить американський винищувач. (До Єви Браун.) Твій маленький спортивний «Арадо-96» на крилах нашого кохання видряпається високо-високо, аж попід холодний космос. Ми з тобою, моя мила білява бестіє, полетимо далеко-далеко, кудись в Аргентину або у Чилі – у мене задалегідь заготовані багато бункерів по всій земній кулі. Багато бункерів, таких собі орлиних гнізд...

Замислюється. Тримає паузу.

Або, або... Краще подамосся на Україну! Там така природа!... І там у бункері «Вервольф» під Вінницею ми знайдемо своє велетенське, грандіозне щастя! Ми будемо як Ромео і Джульєтта у цьому... склепі.

Й, до речі, я покажу тобі, нарешті, мій чудовий японський меч.

Ева Браун. Так, у бункері! Чудова ідея. Хай! Хай живуть Гітлери... У бункері як у склепі? І що з того? Адже справжня сім'я – це і є бункер, де чоловік – фюрер, а жінка – білява бестія, остання шльондра і найперша праматір Третього Рейха. А дітки... Що ж діточки? О, це – в'язні концтабору, яких мучать біснуваті батьки. Або ні! Не так. Навпаки. Діти – це маленькі шкідливі гітлер'югенди, що мучать своїх батьків, як в'язнів Освенціма, знущаються над їхніми ідеалами, п'ють їхню кров... Словом, як не подивися, сім'я – це найпрогресивніше втілення сонцесейних програм фашизму!

У бункер з гуркотом падає ще одна авіабомба. Осколком зачепило тепер і капітана Ханну Райч.

Ханна Райч. О! Небо таки розверзлося! Небо, яке я кохала, про яке я мріяла з дитинства! Здрастуйте, обітовані небеса! (*Вмирає*).

Гітлер (*до Єви Браун, обтрушуючи з неї тиньк*). Героїв нагороджувати вже не лишилося часу. Хай цю почесну роботу виконують інші. Пишаюся тобою, кохана. Ти – моя остання найгероїчніша істота на увесь Третій Рейх! На жаль, я не навчився пілотувати літак так майстерно, як мої підлеглі – не фюрерська це справа. Та нашим планам не перешкодить ніщо! Ми таки потрапимо у небо Берліна – обіцяю! Але... трохи іншим шляхом. Як казав один кремлівський мудрець (*перекривлює*): «Ми пайдьом дгугім пьтьом». (*Виймає з кобури пістолет. Потім ховає його й дістає капсулу з отрутою*.)

Єва. Оооо! У небо? Ти впевнений, Адику, що саме туди?!

Гітлер. ...Але спочатку треба обвінчатися. (*Дивиться на годинник*.) За кілька хвилин наступає північ. Наша коротка шлюбна ніч добіжить кінця, й засяє новий день. День, коли Гітлерів на планеті побільшає удвічі! Капітане, ставайте тут, поруч із Євою Браун, яка скоро стане повносправною Євою Гітлер. (*Вмощує біля стіни бункеру труп капітана Ханни Райч*.) А мій свідок, генерал-лейтенант Роберт фон Грейм, стояти вже не може. (*Прилаштовує труп на стільці біля себе*.) О, так буде краще. Ти справжній солдат, Роберте фон Грейм! Навіть мертвий ти будеш служити своєму фюрерові. (*Священикові*.) Отче, ми готові до ритуалу.

Гупання бомб, вистріли гармат, кулеметні черги наростають разом із шлюбним маршем Мендельсона, який переходить у крики радянських солдат «Ура!!!», а потім у траурний марш Шопена.

Завіса

Голос з-за куліс, що тембром нагадує Священиків.

– Адольф Гітлер і Єва Браун побралися 29 квітня 1945 року в Берліні у бункері під рейхсканцелярією фюрера. Після того одразу ж покінчили життя самогубством. Їхній шлюб занесено до Книги рекордів Гіннеса як найкоротший в історії людства: він тривав рівно одну хвилину.

Далі голос стає противним, брутальним, розгнуданішим – це вже явно актор, який задіяний у проплаченій промоції:

– Книга рекордів Гіннеса – чудовий засіб реклами пива «Гіннес». Пийте пиво «Гіннес»! А також купуйте панчохи «Даменс тріумф» – коричневі панчохи для прекрасних білявок!

ГЛАГОЛЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Юрий МИХАЙЛИК

Глаголы настоящего времени. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2013. – 176 с.

Более двадцати лет назад, в 1991 году, Объединением молодежных клубов Одессы была издана книга «Вольный город» – сборник стихов тогда еще молодых поэтов, членов литературного клуба «Круг». Ее составителем стал руководитель клуба, поэт Юрий Михайлик. Прошло время, изменилась страна, и, хотя большая часть авторов той книги ныне проживает за пределами и Одессы, и Украины, они продолжают оставаться одесситами.

Новый сборник «Глаголы настоящего времени», также составленный Юрием Михайликом и выпущенный Издательским домом Бурого при поддержке Всемирного клуба одесситов, представляет творчество поэтов «Вольного города» два десятилетия спустя.

У этой книги необычная биография и разнообразная география.

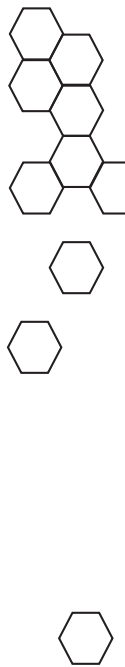
Сборник составили стихи поэтов, живущих в Украине, России, Германии, Бельгии, Израиле и Соединенных Штатах Америки. Все они пишут на русском языке, все они давно и хорошо знают друг друга.

Лет тридцать назад при Объединении Молодежных клубов (ОМК) был создан среди других и литературный клуб. Название ему дали, скажем прямо, довольно простенькое – Круг.

Молодые – и чуть постарше – поэты собрались в этот «Круг» прежде всего по причине острой невосребованности. Просто никому они не были нужны в любимом городе Одессе, а им, естественно, требовались общение, понимание, место, где можно собраться, быть выслушанным и быть услышанным.

Собравшись в своем кругу, они решили, что клубу нужен какой-никакой руководитель. Не то чтобы они искали себе учителя – к тому моменту все уже понимали: никто не может научить человека стать и быть поэтом. Зато человек может научиться этому сам.

Я не знаю, что предопределило их выбор, но в руководители клуба позвали меня.



Клуб просуществовал двенадцать лет.

Когда сходятся вместе столько очень разных – и по возрасту, и по образу мыслей, и по дарованиям, и по направлениям поиска – людей, завязываются такие клубки взаимоотношений...

Двенадцать лет несовместимых амбиций, самолюбий, да и просто двенадцать лет еженедельных литературных сборищ...

Много лет спустя мне кажется, что главной и – увы! – неповторимой особенностью «Круга», главным достоинством была его атмосфера.

Когда-то мне, филологу, убежавшему от филологии куда глаза глядят, стало понятно, что человечество существует благодаря тончайшему (в сравнении с космическими пропорциями) слою, защищающему нашу планету от жесткого излучения, и тем самым делающему жизнь возможной.

Искусство видится мне и сегодня таким слоем. Тончайшим и спасительным.

Мне кажется, что члены клуба «Круг» поверили в это. Поверили, что поэзия – важнейшее дело в истории людей, и уж точно – в их собственных жизнях.

А поверив, поняли, что, служа самому важному делу на земле, ты обязан предъявлять собственному творчеству самые суровые из возможных требований, и оценивать его, исходя из самых беспощадных критериев, и самым ехидным и едким критиком своим должен оказаться ты сам. Ты, который больше всех заинтересован в качестве своих стихов.

В любой столице, в любой провинции обитает множество одаренных молодых литераторов. Так всегда было и в Одессе. И если в семидесятых – восьмидесятых Одесса обрела два с лишним десятка настоящих, ни на кого не похожих поэтов, это было результатом их требовательности к себе. Это их победа.

На занятиях клуба взаимные оценки были строгими. И – мне кажется – строгость обеспечивалась не только ответственностью перед поэзией, но и уважением и добрым отношением к собратьям.

В обычные дни (по пятницам) в клуб приходило человек двадцать. По каким-то спонтанно возникающим поводам собиралось до пятидесяти. Новые стихи, новые темы, новые поэты в стране... Эти сравнительно молодые люди были очень важной, жизненно необходимой частью нашего города, который, признаемся, старался обходиться без них.

Сегодня то время не клеймит только ленивый. Сегодня, по прошествии многих лет, на развалинах несокрушимой системы, после неоднократной смены политических и этических эпох, после тектонических сдвигов в литературных и нравственных принципах, иногда даже кажется, что и сама эта система состояла исключительно из отважных борцов с нею.

Члены «Круга» редко говорили о своих политических пристрастиях, куда больше и чаще – о пристрастиях литературных. Но, конечно, их творчество находилось прежде всего и по преимуществу вне эстетических рамок, предписанных тогдашней идеологией.

Лихая им досталась доля. Сначала – в зоне молчания. Затем – на сломе времен, на распаде империи, в других странах и на иных языках. Даже если на том же.

Любой, читающий эту книгу, поймет, что ее авторам удалось избежать эпигонства, имитации, повторения чужой интонации и – что еще огорчительней – воспроизведения чужого взгляда на мир.

Этот сборник представляет читателю два десятка самостоятельных миров – своеобразных, незаемных, независимых.

Я вспоминаю о политической ситуации потому, что только ее смена позволила, когда ослабли цензурные скрепы, издать (за счет ОМК) сборник стихов членов клуба. В начале 1991 года в Одессе, в издательстве «Маяк» вышла книга под названием «Вольный город». Я был ее составителем и писал к ней предисловие – много лет назад.

Такова биография книги.

Это было чудом тогда – прорыв, выход в свет, а вернее – на свет – того, что замалчивалось, держалось под спудом, редко прорываясь отдельными стихами на страницы местных газет или молодежных журналов.

В сущности, и все дальнейшее – из разряда чудес.

В том давнем предисловии я писал, «что некоторым из авторов этой книги придется стать поэтами, им не удастся избежать этой участи».

Так писал я, всерьез рассчитывая, что станут поэтами – некоторые.

«Станут поэтами» – вовсе не имею в виду общественный успех, читательское признание, гонорары, премии. Ни один из этих факторов, как мне кажется, не является необходимым для становления поэта, они могут лишь сопутствовать ему. Станут поэтами – обретут свой взгляд на мир, собственный голос, свое место в замечательном ряду русской поэзии.

И вот теперь, по прошествии двадцати с лишним лет я должен признать, что ошибался в своих робких надеждах. Произошло то, на что я даже не смел надеяться.

Эти слова – не лицензия на успех, на известность, на популярность.

Это констатация чуда. Знак сбываемости того, что сбыться не могло даже в самых смелых предположениях.

Они стали поэтами.

Можно по-разному воспринимать их творчество. Одно несомненно – они служат своему призванию, они верны ему, они его достойны, ибо они умеют и могут делать свое дело.

Естественно для молодых поэтов в эпоху обретения голоса тянуться друг к другу, собираться в тот или иной круг, им нужны дружба, аудитория, взаимное участие и признание. И столь же естественны для сбывшегося поэта горькое одиночество, полутемная долгая дорога с «дрожащими огнями печальных деревень».

Они теперь идут по этой дороге в разных странах планеты. Эпоха раскидала их по разным временам, убеждениям и верованиям. Все они – своеобразны и легко отличимы друг от друга в своих стихах. Но все они – люди одного круга. Русские поэты, верные своему языку, непреложным его законам, жестоким критериям его поэзии.

И, видимо, было нечто в том круге двадцатилетней давности, если им и теперь вдруг потребовалось вновь ощутить молодое дружба, взаимное тепло и чувство родства.

Несколько месяцев назад они написали мне, в Австралию, где я живу уже двадцать лет. Они написали, что хотят издать новый коллективный сборник стихов. (Это

при том, что у большинства из них есть собственные книги стихов и прозы, крупные публикации в престижных изданиях в тех странах, где живут они теперь.)

Несколько дорогих мне имен отсутствуют в этой книге. Кто-то не захотел, кто-то не смог.

Включены в сборник стихи членов клуба, не успевших к публикации в первой книге.

Я знаю, что за эти годы в Одессе появились новые имена, новые поэты, достойные признания и заслужившие его. Но эта книга ограничена рамками чудес – прошлого и нынешнего.

Вот она перед вами. Как пример того, что не может случиться, и все-таки случается. Не может произойти, и все-таки происходит.

Они, два с лишним десятка талантливых людей, сбывшихся, состоявшихся поэтов, попросили меня – как и двадцать лет назад в Одессе – составить и предварить эту книгу.

Двадцать с лишним лет спустя. Если даже считать только по десятку стихов в год у каждого – двести с лишним стихов спустя...

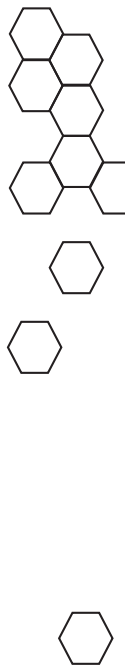



**«В МОЕМ СЕРДЦЕ
ЖИВЕТ БАРАБАНЩИК!»***Дмитрий БУРАГО*

Анастасия Матешко. Остров Ц.: Сборник прозы и поэзии. — К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. — 208 с.

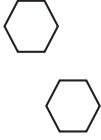
С первых строк рассказов Анастасии Матешко читатель попадает в художественное пространство, где явь завораживает, а вымысел убеждает. Ничего лишнего. Несколько уверенных штрихов – и на фоне меняющихся декораций ее герои оказываются на территории поступка, который, конечно, ничего не изменит в общем ходе событий, но станет точкой отсчета в преломлении судьбы и воли. Выгаданная первосвященником в рассказе «Осси» «высшая воля», по которой связаны родившиеся в один день главная героиня и священный Змей, приводит их к гибели под смех озаренного догадкой юноши. Имя девушки и есть ключ к власти над Змеем. Змей и Осси едины, как может быть неразрывен человек со своей явной самому себе судьбой служения культу веры, творчества или другому, тому, что мы пестуем в себе, возвышаясь над миром во власти заклинания. И все же разрыв неизбежен, как неминуемо падение с высоты гордыни и одиночества в поток страсти, страсти, отрезвляющей от самого себя, в которой проявляется, как в предрассветной дымке, звонкий мир и другой человек в нем. Но этот человек оказывается кентавром из детских снов и бабушкиных книг (рассказ «Кентавр»), таким родным и далеким, что признаться в его существовании здесь и сейчас так же невыносимо, как невозможно было предать его в детстве.

Мир вокруг героев Матешко недостоверен. Их путь возможен только по условным знакам. Это тайный путь в глянцево очевидности причинно-следственного абсурда. И условные знаки – это напоминания о себе самом, как в «Клятве Гиппократата» татуировка на пальцах виновника падения юноши Кости позволяет ему в итоге хладнокровно подойти к операционному столу и не только избежать второго падения, но совершить поступок, которого когда-то он не совер-

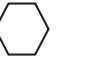




шил. Несовершенство поступка у автора – тоже поступок («Медальон»), так как после продолжается жизнь, которая не должна была продолжаться именно так, и теперь становится герою чужой. А как горько проживать не свою жизнь, когда давно-давно однажды просто струсил и трусишь до сих пор, как дворняга по задворкам собственной судьбы.



Герои Анастасии Матешко родом из тех самых экзистенциальных пристанищ киевских интеллектуалов и сумасшедших, где очередь за «двойной половинкой» кофе в «Стекляшке», на «Нижнем Париже» или в гастрономе на пересечении Пушкинской и Прорезной становилась обрядом, а цитата из Гессе или Кортасара объединяла незнакомцев в ощущении духовного братства. Киевскими проулками под музыку «Пинк Флойд» и «Лед Зепелинг» через борхесовские лабиринты и тропинки тибетских гор посетители киевских кофеен «разошлись по домам» и «потеряли друг друга» (Б. Гребенщиков). Так девушка, заваривающая кофе в гастрономе на углу (рассказ «Кофеман»), не подойдет к художнику, который рисует на салфетках, приходит всегда в одно и то же время и долго сидит за столиком, в том прошлом, где живет героиня.



Юли и Ани, Лены и Машеньки Анастасии Матешко существуют в поиске, ожидании, одиночестве. Все они знают, как «хорошо ловится рыбка-бананка». Конечно, героини настолько реальны, что не верят в чудо, но ждут именно его. Они сбегают от самих себя в прошлое, к буддистским многозначиям, или просто из дома, когда ложь становится невозможной физиологически (рассказ «Юля»), а время неумолимым.

Книга «Остров Ц.» состоит не только из прозы Анастасии Матешко. В оформлении использованы репродукции картин Ирины Вышеславской, а поэт Леонид Николаевич Вышеславский поправлял еще первые стихотворные опыты Насти. Кто знает, может быть, общение с третьим Председателем Земного Шара (это звание, выдуманное Велимиром Хлебниковым, Леонид Вышеславский унаследовал от Григория Петникова) оказало влияние и на будущее творчество Анастасии? Во всяком случае, после прозы (кажется, кроме редакторов и корректоров еще есть и те, кто читает книги от корки до корки) читателю открываются стихотворные судьбы слов, страстей и печалей Матешко. Приведенное ниже стихотворение «Незнакомец» показательно как сочетание несочетаемого в поэзии, приводящее слова к извлечению ярких и новых смыслов, а речь – к головокружительной ясности:

Неожиданно, тьму проверяя на крик,
Будто призрак, вонзаясь в зрачок незнакомки,
Среди ночи возник и приник, и проник
Прямо в губы их лед, обжигая по кромке.

Эта дрожь – только ветер, трясущий квартал
За парадные двери и форточки спален,
Эта тяга к чужому – всего лишь скандал
Непришедшей весны среди снежных развален.

Впору броситься вон: «Незнакомец, пусти!»
Но случайная ласка дурманит запретом –
Погости на груди! Пусть горят соловьи
В каждом атоме тела рассветом.

Ловко и смело выстроенные поэтические строки напоминают, что автор, в чьем «сердце живет барабанщик», – тоже герой самого сложного и многослойного произведения, в котором он существует.

Искренне радуясь выходу этой книги, мы позволим себе выразить уверенность в том, что, несмотря на впавший в состояние тотальной лжи социум, если выключить телевизор, компьютер и, заняв удобное место в любимом кресле, углубиться в чтение, то здесь все будет честно и по-настоящему.



Илья КУКУЛИН

ЗРИМОЕ

Наталья Бельченко. Зримородок. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2013. – 168 с.

С каждым новым сборником стихи Натальи Бельченко становятся все более прихотливыми и свободными, однако в них подхватываются и переосмыслиются ее постоянные и значимые для нее темы: топография и мифология Киева, любовные и эротические влечения, участие в мире природных метаморфоз. В стихах Бельченко немало языковых экспериментов, или, во всяком случае, поэтических вольностей. Ее неологизмы – сложные метафоры, «свернутые» в одно слово, вроде «ньютонуть» или «зримородок». Бельченко – киевский поэт, пишущий по-русски, и в ее произведениях ошутимы традиции как русского, так и украинского модернизма: и раннего Пастернака с его метафоричностью, и раннего Миколы Бажана с его барочной эротикой.

Героиня стихотворений новой книги Бельченко словно бы постоянно рождается заново – отделяясь от природного мира, от семьи и от литературы, но никогда не может вполне отделиться («Пусть все останется Днепром, / Так редкая сказала птица» – вот, кстати, намек на еще одного украинско-русского автора, Николая Гоголя...), а сами стихи, демонстрирующие поток метафорических превращений, напоминают процессы бесконечной трансформации природы. Но все эти отношения расставания без разрыва – отрефлексированы и сделаны предметом анализа: «И всё оправдается в слове живом, / Как в предках сгустилось когда-то, / Но будет у сердца колоться жнивьем, / Чтоб помнило, что виновато».

Поэт стремится увидеть скрытый порядок в том иррациональном коловращении, в которое погружены ее персонажи. Видимо, из-за этого стремления Бельченко столь часто пишет сонеты – стихотворения почти кристаллические по своей упорядоченности. Но поэт описывает динамический порядок, в котором любое решение, любое утверждение сходства и различия никогда не равны самим себе и вызывают к пересмотру. Бельченко удастся вступить в диалог и с историческими событиями, и с географическими реалиями – и за тем, и за другим для нее стоят души, нуждающиеся в том, чтобы их окликнули, назвали, проводили взглядом.

НАШИ АВТОРЫ

Семен Абрамович – доктор филологических наук, профессор, выдающийся специалист в области филологии, богословия, культурологии, украиноведения, риторики. Родился в 1945 году в Житомире. Автор свыше 200 научных работ, в том числе – 9 монографий, 156 научных статей, 3 учебников, 25 учебных пособий; принимал участие более чем в 150 конференциях. Руководитель научной школы «Литературный текст у контексті культуры: проблеми рецепції та інтерпретації».

Этери Басария (1949–2013) родилась в селе Кутол Абхазской АССР. Окончила МГУ (1972), Литинститут (1973). Печаталась как прозаик с 1972 года: журнал «Юность». Автор книг прозы: Птицам неба. Рассказы. Сухуми, 1975; На нашей стороне. Рассказы. Киев, 1977; Первые километры. Повесть и рассказы. М., 1980; Взгляд поверх ворот, выходящих на луг. Роман. Киев, «Радянський письменник», 1985; И говорили они до утра. Повесть и рассказы. М., «Сов. писатель», 1986; Щадящий режим. Повести и рассказы. Киев, «Радянський письменник», 1988; Дым сказки. Книга для детей. Киев, «Веселка», 1988; На перекрестке. Роман, повести, рассказ. Киев, «Дніпро», 1989. Произведения переведены на абхазский, итальянский, немецкий языки. Член СП СССР (1979), Нац. СП Украины (1992). Лауреат премии им. В. Короленко (1999).

Марк Белорусец – переводчик. Родился в 1943 году на Урале, живет в Киеве. С 1970 года занимается переводами поэзии и прозы немецких и австрийских авторов (Пауль Целан, Георг Тракль, Роберт Музиль, Готфрид Бенн, Гюнтер Айх, Манес Шпербер, Герта Мюллер и др.). Лауреат премии Австрийской республики (1998, 2010) и Премии Андрея Белого (2008) за работу над собранием стихов, прозы и писем Пауля Целана (номинация «За заслуги перед литературой»).

Григорий Брайнин родился в 1954 году в Донецке. Окончил ДПИ. Кандидат технических наук. Автор поэтического сборника «Перевоз» (1993). Печатался в журналах «Многоточие», «Дикое поле», в альманахе «Четыре сантиметра Луны». Живет в Донецке.

Дмитрий Бурого родился в 1968 году в Киеве. Поэт, издатель и культуртрегер. Окончил филологический факультет Киевского педагогического института. Является организатором ежегодной международной научной конференции «Язык и культура» им. проф. С. Б. Бурого. Издатель современной научной и художественной литературы, журнала «COLLEGIUM», книжной серии «И свет во тьме светит,/ И тьма не объяла его». Лауреат литературной премии имени Леонида Вышеславского «Планета Поэта» (2007), премии НСПУ им. Н. Ушакова (2008), Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских (2011).

Владимир Верлока – поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1973 году. Окончил Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко, факультет филологии. Кандидат философских наук. Сотрудничал с издательствами «Плеяды», «Дух и Литера», «Кальвария». Публиковался в журналах «Крещатик», «Многоточие».

Семен Глузман – правозащитник, бывший диссидент и политзаключённый, известный психиатр. Родился в 1946 году в Киеве. Президент Ассоциации Психиа-

тров Украины, член Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины. В 1972 году был арестован КГБ. Судом ему инкриминировалось распространение «самиздата» и «тамиздата», «ложной информации о нарушениях прав человека в СССР», в том числе злоупотреблениях психиатрией в политических целях. Основной причиной ареста стала «Заочная экспертиза по делу генерала П. Г. Григоренко, согласно которой Григоренко был признан психически здоровым (вопреки официальной точке зрения, что он психически болен). По приговору суда Семен Глузман получил 7 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки. Во время пребывания в лагере продолжал заниматься научной и публицистической деятельностью. В частности, в соавторстве с Владимиром Буковским им было написано «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». Тогда же заочно был избран членом Международного ПЕН-клуба. Стихи и проза Глузмана издавались на русском, украинском, английском и французском языках.

Ирина Евса родилась в 1956 году в Харькове. С 1978 года – член Национального союза писателей Украины. Член международного ПЕН-клуба. Поэт, переводчик. Автор десяти поэтических книг. Перевела для издательства «Эксмо» стихи Сафо, гимны Орфея, «Золотые стихи» Пифагора, свод рубаи Омара Хайяма, гаты Заратустры, «Песнь Песней», псалмы Давида. Лауреат премии Международного фонда памяти Б. Чичибабина, премии «Народное признание», лауреат конкурса «Литературный герой», лауреат премии журнала «Звезда». За книгу стихотворений «Трофейный пейзаж» награждена Международной литературной премией имени Великого князя Юрия Долгорукого. Живет в Харькове.

Виктор Ерофеев – русский писатель, автор и ведущий программы «Апокриф» на телеканале «Культура». Родился в 1947 году в семье советского дипломата Владимира Ивановича Ерофеева. Часть детства провел в Париже. Окончил филологический факультет МГУ и аспирантуру Института мировой культуры. В 1979 году за организацию в самиздате альманаха «Метрополь» был исключен из Союза писателей. До 1988 году в СССР его книги не издавались. Самый знаменитый роман Виктора Ерофеева – «Русская красавица». Рассказ Ерофеева «Жизнь с идиотом» лег в основу оперы композитора Альфреда Шнитке. Широкою известность получили книги: «Мужчины» (1997), «Русские цветы зла» (1999), «Хороший Сталин» (2004). Член Русского ПЕН-центра. Лауреат премии имени В. В. Набокова (1992), кавалер французского Ордена литературы и искусства (2006). Живет в Москве.

Константин Ильницкий продживает в Одессе. Журналист. Главный редактор журналов «Порты Украины» и «Black Sea Trans». Эксперт морской отрасли. Член Национального Союза журналистов Украины.

Ольга Ильницкая – поэт, писатель и журналист. Родилась в 1951 году в Одессе. Публикации – в поэтических антологиях, в журналах «Знамя», «Арион», «Октябрь», «Нева», «Юность», «Крещатик», «Футурум АРТ», «Соты», «Меценат и мир», «Дерибасовская – Ришельевская». Изданы более десяти сборников поэзии и прозы. Сегодня она – член Русского ПЕН-центра, Союза писателей Москвы, Национального союза журналистов Украины, а с 2010 года и Одесской областной организации Конгресса литераторов Украины (Южнорусский Союз Писателей). Живет в Москве.

Игорь Кручик родился в 1961 году в Киеве. Окончил филфак Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко и Высшие литературные курсы (Москва). Член Национального союза писателей Украины. Автор книг стихотворений «Весть о братьях» (К.: Молодь, 1989), «Избранные черновики» (К., поэтическая лаборатория «Cultur & Art», 1991), «Игра вещей» (издательский кооператив «Золотые Ворота», К., 1992). «Стрела, замри в небе» (М.: Столица, 1993), «Звуковое письмо». (С-Пб.: Геликон Плюс, 2000), «Новый субъекткон» (К.: Неопалимая купина, 2003), «Арки» (К.: Визант, 2007). Поэтические подборки публиковались в изданиях: «Антология русского верлибра», «Пропуск в зону: антология стихотворений о Чернобыле», «Антология современной русской поэзии Украины», «100 русских поэтов о Киеве», «Киев. Русская поэзия. XX век», «Звукоряд» и др. Издавал журнал «Византийский ангел».

Илья Кукулин – российский литературовед и литературный критик. Родился в 1969 году в Москве. Окончил факультет психологии МГУ, затем учился в аспирантуре филологического факультета РГУ (научный руководитель Михаил Гаспаров). Кандидат филологических наук. С 1995 года публиковал критические статьи в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» и др. В 2000–2002 годах сотрудник газеты «Ex Libris НГ». С 2002 г. сотрудник редакции журнала «Новое литературное обозрение».

Член редколлегии, с 2006 года главный редактор сетевого литературного журнала TextOnly. Лауреат стипендии Академии Российской современной словесности для молодых литераторов (2002).

Анна Малігон народилася 1984 року в Конотопі. Закінчила Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, магістратуру Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Редактор наукового вісника. Лауреат обласних, всеукраїнських та міжнародних літературних конкурсів «Молоде вино», «Гранослов», «Культрешанс», «Смолоскип» та інших. Лауреат міжнародної україно-німецької премії імені Олеся Гончара (2009). Член Національної спілки письменників України. Авторка двох книжок поезій.

Виктор Малахов родился в 1948 году в Киеве, в семье скульптора Арона Яковлевича Футермана и Тамары Павловны Малаховой, врача-терапевта. Философское образование получил в Киевском государственном университете им. Тараса Шевченко. В студенческие годы слушал курсы таких преподавателей, как В. А. Босенко, М. О. Булатов, А. О. Пашкова, И. В. Бычко. В настоящее время – доктор философских наук, философ, ведущий научный сотрудник Института философии НАН Украины им. Григория Сковороды.

Станислав Минаков – поэт, прозаик, эссеист, переводчик, публицист. Родился в 1959 году в Харькове. Один из организаторов (вместе с Л. С. Карась-Чичибабиной, И. Евсой, А. Дмитриевым, В. Васильевым) и участник Международного фестиваля современной поэзии памяти Бориса Чичибабина (1999–2007). Член Национального союза писателей Украины, Союза писателей России, Международного фонда памяти Б. Чичибабина, Всемирной ассоциации писателей International PEN Club (Московский центр). Автор книг «Имярек» (Москва: Современник, 1992), «Вервь» (Харь-

ков: Издатель, 1993), «Листобой» (Харьков: Крок, 1997, стихи и проза, послесловия А Кушнера и Б. Чичибабина), «Хождение» (Москва: Поэзия.ру, 2004; стихи 1983 2004, переводы, пьеска, две поэмки; предисловие Ю. Г. Милославского), «Где живет ветер» (переводы стихотворений А. А. Милна; ХЦ СП Интербук, 1991).

Юрий Михайлик – поэт, прозаик. Родился в 1939 году, жил в Одессе. Окончил филологический факультет Одесского университета, работал в местных газетах. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Звезда», «Радуга» (Киев) и в других изданиях. Автор 12 книг стихов и 5 книг прозы. В 1980-е годы вел литературную студию «Круг», в которую входили неофициальные одесские поэты и прозаики Р. Бальмина, Б. Верникова, А. Гланц, О. Ильницкая, П. Лукаш, Т. Мартынова, П. Межурицкий, С. Четвертков, В. Ярмолинец. Составитель антологии неофициальной одесской поэзии «Вольный город» (Одесса, 1991). С 1993 года живет в Австралии, в Сиднее.

Євген Пашковський – письменник. Народився 1962 року на станції Разіне у Житомирському краї. Навчався в індустріальному технікумі та педагогічному інституті. Член Національної спілки письменників України (з 1991), ПЕН-клубу (1993). Лауреат Міжнародної премії Фундації доктора М. Дем'яніва «Свобода і мир для України» (1993), міжнародної премії Фундації Є. Бачинського «В свічаді слова» (1997). Автор романів «Свято» (1989), «Вовча зоря» (1990; окремі розділи перекладені англійською і німецькою мовами), «Безодня» (1992), «Осінь для ангела» (1993), роману-есею «Щоденний жезл» (1999; частково перекладений вірменською і німецькою мовами).

Мария Панчехина – аспірантка кафедри теорії літератури Донецького національного університета.

Анна Ревякина – поэт, родилась в 1983 году. Доцент кафедры международной экономики Донецького національного університета, кандидат економічних наук. В 2013 году стала обладателем премии «Творческая молодежь Донбасса» в номинации «Поэт года». Автор двух поэтических сборников – «Сердце» (Донецк, 2011), «Untitled» (Киев, 2012).

Татьяна Ретивова – поэт, переводчик. Родилась в Нью-Йорке в 1954 году, в семье русских эмигрантов. Правнучка писателя Е. Н. Чирикова. Окончила Монтанский университет, получив степень бакалавра по английской и французской литературе, училась на семинарах поэта Ричарда Юго. Служила секретарем у историка и архивиста Сергея Якобсона. В 1979 году, после стажировки в ЛГУ, поступила в Мичиганский университет на факультет славянских языков и литературы. Посещала семинары Иосифа Бродского. Была лауреатом ежегодной университетской премии имени «Эвери Хопвуд» за сборник стихов на английском. С 1994 года живет в Киеве, где 12 лет работает переводчиком, а затем руководителем проекта под эгидой международной программы по разоружению. В 2005 году приняла участие, как поэт и переводчик, в «Антологии современной русской женской поэзии», вышедшей на английском в специальном выпуске британского журнала Modern Poetry in Translation. В настоящее время руководит киевским арт-лит-салоном «Бриколаж».

Сергей Соловьёв – поэт, прозаик, художник. Родился в 1959 году в Киеве. Учился на филологическом факультете Черновицкого университета и отделении гра-

фики Киевской Академии искусств. Шесть лет реставрировал фрески в украинских церквях. В начале 1990-х издавал в Киеве литературно-художественную газету «Ковчег». С середины 1990-х живет преимущественно в Мюнхене, активно выступает как художник (персональные выставки в Германии, США, Чехии и др.). Автор двенадцати книг поэзии и поэтической прозы, презентации приуроченного к рубежу тысячелетий культурологического проекта «Фигура времени» (музей истории человечества в форме «металабиринта», который предполагалось построить в Германии недалеко от города Росток; проект остался нереализованным, документация к нему неоднократно экспонировалась в разных странах). В 2004–2008 – автор проекта и ведущий междисциплинарного дискуссионного клуба «Речевые ландшафты», автор проекта и гл. редактор ежегодного альманаха современной литературы «Фигуры Речи» (Москва). 2007–2008 – инициатор международной премии «Читатель».

Анна Стреминская родилась в Одессе, после окончания школы училась в Одесском театральном-художественном училище. Работала художником-оформителем, библиотекарем, переплетчиком, журналистом одесских газет. С 1996 года – научный сотрудник Одесского литературного музея, в 2000 году окончила Одесский государственный университет, филологический факультет. Печаталась в альманахах «Дерибасовская – Ришельевская», «Южное сияние», «Крещатик», «Дон», «Меценат и мир», «Мир Паустовского», в «Литературной газете». Автор поэтических сборников «На древнем языке», «Трое» и многих коллективных сборников.

Мария Тилло (Абрамович) (1977–2006) родилась в Коростышеве. Жила в Черновцах, окончила русское отделение филфака и аспирантуру Черновицкого национального университета, защитила кандидатскую диссертацию по поэзии Бродского. У нее вышли три поэтические книги: «Я» (Черновцы, 1998), «Alter ego» (Черновцы, 1999), «Терция» (Киев, 2005).

Леся Тышковская родилась в 1969 году. Окончила филологический факультет Киевского университета, кандидат филологических наук. Печатается с 1988 года. Автор публикаций в «Антологии русского верлибра», журналах и альманахах «Соты», «Коллегиум», «Крещатик», «Вавилон» и др. Выступает с песнями и музыкальными перформансами на свои стихи, а также как киноактриса, фотомодель.

Ірина Шувалова народилася в Києві 1986 року. Закінчила філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Працює над дисертацією з філософії мови. Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «переклад» у Київському інституті перекладачів при НАНУ (випуск 2012 року). Вірші друкувалися в «Українській літературній газеті», журналі «ШО», часописах «Четвер», «Кур'єр Кривбасу» та «Березіль», альманахах міжнародного літературного фестивалю Форуму видавців у Львові, антологіях «100 молодих поетів України» (2008), «Літпошта» (2009), «Березневі коти: антологія еротартфесту» (2010), «Чорне і червоне: Сто українських поеток ХХ сторіччя» (2011), «Шоколадні вірші про кохання» (2012). Крім того, публіцистичні дописи поетеси з'являлися на сторінках часопису «Критика». Вірші Ірини Шувалової перекладено англійською, німецькою, польською та російською мовами. 2011 року у видавництві «Смолоскип» побачила світ перша книга віршів поетеси – «Ран».

Анна Щербакова родилась в Варшаве. По образованию музыкант – окончила Одесскую государственную консерваторию им. А. В. Неждановой. Сейчас живет и работает в Киеве, организывает музыкально-художественные импрезы и пишет прозу. Автор книги «Прогулки по лабиринту снов: Рассказы и повести» (Ужгород: Карпаты, 2009).

Эльке Эрб (нем. Elke Erb) – немецкий поэт и переводчик поэзии. Родилась в 1938 году в Шербахе, ныне Райнбахе. Дочь историка литературы Эвальда Эрба (1903–1978), внучка архитектора Паулюса Эрба. С 1949 года семья жила в ГДР. В 1958–1959 Эльке изучала германистику, славистику, историю и педагогику в университете Галле. Служила в издательстве Mitteldeutscher Verlag. С 1966 года занимается исключительно литературой, живет в Берлине. Член Академии искусств Саксонии. Наряду с публикацией стихов и прозы переводила с английского, итальянского, русского, грузинского и других языков. Из русских авторов переводила Сергея Есенина, Марину Цветаеву, Марию Степанову, Ольгу Мартынову, Наталью Бельченко, Аллу Горбунову, Олега Юрьева. Среди ее литературных наград – премии Петера Хухеля (1988), Генриха Манна (1990), Эриха Фрида (1995), Ханса-Эриха Носсака (2007), Эрлангенская премия за поэтический перевод (2011).

Валерий Юхимов родился в 1960 году в Одессе. Автор книги стихов «Карантин». Поэтические тексты публиковались в Украине и России в антологиях и журналах «Соты», «Крещатик», «Радуга», «Октябрь» и др. Также занимается фотографией и живописью, автор персональных и коллективных выставок. Работы представлены в частных коллекциях в Украине, России, Германии, Франции, США, Израиле.

Книги Издательского дома Дмитрия Бурого

можно получить наложенным платежом.

Заказ по тел.: [+38 044] 501 07 06, e-mail: burago@list.ru,

<http://www.burago.com.ua>

По вопросам издания книг обращаться по тел.: [+38 044] 227 38 86

Вышеславский Л. Н. Избранное (1987–2002) / Леонид Вышеславский; [ред. Д. Бурого]. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2004. – 260 с.

Жданов И. Избранное. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2004. – 156 с.

Левчин Р. Избранное. – К.: Издательский Дом Дмитрия Бурого, 2006. – 248 с. В настоящее собрание стихов Рафаэля Левчина, сменившего киевский андеграунд на чикагский, вошли тексты из его сборников «ВОДАогонь» (1996), «LUDUS DANIELIS» (2003), а также тексты, еще не печатавшиеся.

Лапинский И. Избранное. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2009. – 320 с. В настоящее собрание сочинений Игоря Лапинского, а также откликов на них, вошли тексты из сборников «Огни святого Эльма» (1992), «LUDI» (2000), «Утро бессонных крыш» (2002), многочисленных публикаций в периодике, поэтических антологиях и в Интернете. Есть тексты, не публиковавшиеся прежде.

Бурого Д. Киевский сбор. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2011. – 128 с. Дмитрий Бурого – автор многочисленных публикаций в журналах и альманахах, поэтических книг. Лауреат литературной премии имени Л. Вышеславского, премии НСПУ имени Н. Ушакова и международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских.

Соловьёв С. Слова и ветер. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. – 368 с. В книгу «Слова и ветер» вошли основные тексты из сборника прозы и стихов «Крымский диван» и роман «Аморт»; то и другое – в новой авторской редакции. Завершает книгу фрагмент романа «Адамов мост» – одна из его коллизий, продолжающая тему «Крымского дивана» и «Аморта».

Свенцицкая Э. Триада рая. Проза жизни. Повесть и рассказы. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. – 368 с. Это книга о жизни – о ее комизме в самых грустных моментах, о глубокой значимости обыденных ситуаций. Это попытка увидеть в мелочи – удивительный мир. И еще эта книга о переживаниях личности, которая не может не думать, а значит – не писать.

Сергей Крымский: наш разговор длиною в жизнь. (Цикл интервью Т. А. Чайки). – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. – 436 с. Написанная в жанре актуальной в наше время «oral history», книга представляет собой цикл интервью с известным философом Сергеем Крымским, в которых он рассказывает о своей жизни и творчестве. Рассказ охватывает период с 30-х годов прошлого века по настоящее время. Читатель, несомненно, отдаст должное живости и непосредственной форме повествования, нетривиальности суждений и характеристик ученого.

Сергей Крымский: мудрецы всегда в меньшинстве. (Статьи разных лет) / С. Б. Крымский; сост. Д. С. Бурого. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. – 400 с. Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой сборник статей, написанных известным философом С. Б. Крымским на протяжении двух последних десятилетий жизни ученого. Автор обращается к таким актуальным проблемам современности, как проблема постистории, риски глобализации нынешнего общества, перспективы развития культуры, личности и современной семьи. В книге представлены аналитические статьи академика НАН Украины И. М. Дзюбы, доктора философских наук Ю. В. Павленко, посвященные творчеству Крымского.

Матешко А. Остров Ц.: Сборник прозы и поэзии. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. – 208 с. Книга «Остров Ц.» – это квинтэссенция размышлений поэтессы о возможности

путешествия – путешествия вглубь острова, которым и является душа истинного пилигрима. В издании автор присутствует в двух ипостасях: как прозаик и как поэт, освещая тему любви как Божественного замысла. Условность и кинематографичность рассказов, жизнеутверждающие идеи, яркие и новые смыслы стихотворений увлекают читателя и устремляют его к поиску своего собственного острова.

Глаголы настоящего времени. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2013. – 176 с. Более двадцати лет назад, в 1991 году, Объединением молодежных клубов Одессы была издана книга «Вольный город» – сборник стихов тогда еще молодых поэтов, членов литературного клуба «Круг». Ее составителем стал руководитель клуба, поэт Юрий Михайлик. Новый сборник «Глаголы настоящего времени», также составленный Юрием Михайликом и выпущенный при поддержке Всемирного клуба одесситов, представляет творчество поэтов «Вольного города» два десятилетия спустя.

Бельченко Н. Зримородок. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2013. – 168 с. В книге Натальи Бельченко «Зримородок» образы города перемежаются образами дороги, и роднит их – река. Здесь сильны орнитологический и ихтиологический коды в их культурной и интимной подоплёке. Путешествие как таковое и путешествие во времени, во взгляде – как обновление, внутреннее рождение – источники этой книги.

Криворучко С. К. Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів: монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2012. – 428 с. Монографія пропонує прочитання літературних творів французької письменниці Сімони де Бовуар (1908–1986) «Мандарини» (1954), «Сила обставин» (1960), «Дуже солодка смерть» (1964), «Чарівні картинки» (1966), «Зламана жінка» (1968), «Трансатлантичне кохання» (1997), переглядає її репутацію (виводить із тіні Ж.-П. Сартра) та перекодує роль і місце в історії літератури ХХ ст.

Ревякина А. Untitled. Стихи. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. – 112 с. Словотворения Анны Ревякиной подобны удивительным деревьям, растущим на границе мыслимого и немислимого. Они питаются из почв этих несообщающихся миров и нежатся в лучах двух разных небесных светил. Молодые побеги поэтических пейзажей укоренились и вытянулись вверх, стали проводниками к тайнам человеческой души, превратившись в эту книгу. «Всякое семя мечтает стать деревом, всякое дерево мечтает стать книгой...»

Хорунжий А. Никто, как ты... – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. – 264 с. В сборник «Никто, как ты...» вошли стихи разных лет, начиная с юношеской лирики 60-х годов прошлого века, а также зрелого периода ХХ века и начала ХХІ-го. Что касается переводов, то большая часть их пришлась на 80-е и 90-е годы.

Баранов В. Тут і сьогодні: статті та есеї. – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2013. – 344 с. Нова книжка Віктора Баранова «Тут і сьогодні» розкриває ще одну грань його письменницького обдарування. Літературно-критичні та публіцистичні статті й есеї, що її складають, – то пристрасні рефлексії автора на явища й події сучасного літпроцесу, на бурхливу течію суспільного буття України. Читач відкриє для себе цікаві сторінки творчих біографій широко знаних і маловідомих майстрів художнього слова, відчує високу напругу небайдужих роздумів про актуальне й наболіле, що стосується нині кожного.

Глузман С. Ф. Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012. – 520 с. Книга содержит воспоминания известного украинского диссидента Семена Глузмана и тексты, написанные им в заключении. Не претендуя на хронологическую точность, автор погружает читателя в субъективный человеческий мир эпохи тоталитаризма, рисует портреты встретившихся ему людей, горькие и радостные ситуации. Иван Свитлычный, Василь Стус, Сергей Ковалев, Валерий Марченко и многие другие в этой книге предстают не героями или мучениками, а обыкновенными людьми, имевшими несчастье родиться и жить в стране тоталитарной лжи. Людьями, имевшими мужество сопротивляться злу.